АЗБУКА ВЕРЫ

Лондон Джек

Джерри-островитянин

Художественная литература · azbyka.ru

Джерри-островитянин – электронная книга православного портала «Азбука веры».

Читайте эту и тысячи других книг бесплатно: azbyka.ru/fiction/dzherri-ostrovityanin

«Азбука веры» – некоммерческий просветительский проект. Мы бесплатно открываем людям сокровищницу православной веры и лучшие книги русской и мировой литературы. Если книга оказалась для вас полезной, поддержите портал: azbyka.ru/kak-pomoch

Джерри-островитянин

Лондон Джек

Предисловие

Несчастье некоторых беллетристов заключается в том, что средний человек полагает, будто вымысел и ложь — одно и то же. Несколько лет назад я опубликовал «Рассказы Южных морей»[1]. Действие разыгрывалось на Соломоновых островах. Сборник рассказов удостоился похвалы критиков, признавших в нем весьма почтенный плод фантазии. Что же касается реализма, то его, по их мнению, там не оказалось. Конечно, как известно всякому, волосатые каннибалы исчезли с лица земли, а следовательно, не разгуливают нагишом и не отрубают голов друг другу, а иной раз и белому человеку.

Ну, так слушайте! Эти строки я пишу в Гонолулу, на Гавайях. Вчера на пляже Вайкики со мной заговорил один незнакомец. Он упомянул о нашем общем друге, капитане Келларе. Когда я на «Миноте» — судне, вербовавшем чернокожих рабочих, — потерпел крушение у Соломоновых островов, спас меня этот самый капитан Келлар, шкипер вербовщика «Евгения». Незнакомец сообщил мне, что чернокожие завладели головой капитана Келлара. Ему это было известно. Он был уполномочен матерью капитана Келлара ликвидировать его имущество.

Слушайте дальше! На днях я получил письмо от верховного комиссара британских Соломоновых островов[2] мистера К. М. Вудфорда. Он вернулся на свой пост после длительного отпуска, проведенного им в Англии, где он устраивал сына а Оксфордский университет. Порывшись на полках любой общественной библиотеки, можно извлечь на свет книгу, озаглавленную «Натуралист среди охотников за головами». Мистер К. М. Вудфорд и является этим натуралистом и автором данной книги.

Вернемся к письму. Повествуя о своих повседневных заботах, мистер Вудфорд мимоходом упоминает о только что выполненном специальном задании. Выполнение его задержалось из-за его поездки в Англию. То была карательная экспедиция на соседний остров, между прочим, и для поисков голов некоторых наших общих друзей-белых: негоцианта, его жены, детей и клерка. Экспедиция прошла успешно, и м-р Вудфорд заканчивает свое повествование об этом эпизоде такими словами: «Особенно поразило меня отсутствие страдания и ужаса в их лицах, выражавших скорее безмятежное спокойствие». Заметьте — это он пишет о людях своей же расы, о людях, хорошо ему знакомых и частенько обедавших с ним в его собственном доме.

Многие друзья, с которыми я сиживал за обедом в те удалые, веселые дни на Соломоновых островах, погибли таким же образом. Бог мой! Я отплыл на кече «Минота», шедшем на Малаиту вербовать рабочих, и взял с собой жену. На двери нашей каюты еще видны были следы топора, свидетельствуя о событии, происшедшем несколько месяцев назад, когда отрубили голову капитану Маккензи, бывшему в то время шкипером «Миноты». Подходя к Ланга-Ланга, мы увидели британский крейсер «Кёмбриен», удалявшийся после обстрела одной из деревень.

Не имеет смысла обременять введение к моему рассказу дальнейшими деталями, каковых, утверждаю, я могу привести множество. Надеюсь, мне удалось до известной степени заверить, что приключения собаки — героя моего романа — являются подлинными приключениями в весьма реальном мире каннибалов. Когда я с женой отплыл на «Миноте», мы нашли на борту очаровательного щенка — ирландского терьера, охотника за неграми[3]; то была такая же

гладкошерстная собака, как и Джерри, а звали ее Пегги. Хозяином ее был великолепный шкипер «Миноты». Миссис Лондон и я так сильно к ней привязались, что миссис Лондон после крушения «Миноты» сознательно и бесстыдно украла ее у шкипера «Миноты». Признаюсь, что я столь же сознательно и бесстыдно потворствовал преступлению жены. Мы так любили Пегги! Милая, славная собачка, погребенная в море у восточного берега Австралии!

Мне остается прибавить, что Пегги, как и Джерри, родилась у лагуны Мериндж на плантации Мериндж, находящейся на острове Изабелла. Этот остров лежит к северу от острова Флориды, где находится правительство и где обитает верховный комиссар мистер К. М. Вудфорд. Я хорошо знал отца и мать Пегги и частенько с любовью следил, как эта верная пара бегала бок о бок вдоль берега. Отца действительно звали Терренс, а мать — Бидди.

Д ж е к Л о н д о н Пляж Вайкики.

Гонолулу. Оагу Т. Х.

5 июня 1975 г.

Глава первая

Пока мистер Хаггин не подхватил его неожиданно под мышку и не спустился на корму поджидавшего вельбота, Джерри и не подозревал, что ему грозит какая-нибудь неприятность. Мистер Хаггин был его любимым хозяином в течение всех шести месяцев жизни Джерри. Джерри не знал мистера Хаггина под именем «хозяин», ибо слову «хозяин» не нашлось места в словаре Джерри, этого гладкошерстного, золотисто-рыжего ирландского терьера.

Но в сознании Джерри «мистер Хаггин» значит то же самое, что в наших словарях значит для собаки слово «хозяин». Слова «мистер Хаггин» Джерри слышал постоянно: так называли его хозяина многие — Боб, клерк и Дерби, надсмотрщик на плантации. И редкие посетители, двуногие человеческие существа, вроде тех, кто приехал на «Эренджи», тоже обращались к его хозяину «мистер Хаггин».

Но собаки в своем смутном, неясном, возвеличивающем людей сознании возносят своих хозяев и любят их больше, чем те заслуживают. «Хозяин» значит для них то же, что значил «мистер Хаггин» для Джерри. Человек считает себя хозяином своей собаки, но собака считает своего хозяина богом.

Однако слова «бог» не было в словаре Джерри, хотя он уже успел приобрести определенный и довольно пространный словарь. «Мистер Хаггин» значило то же, что и «бог». Для Джерри слова «мистер Хаггин» звучали так же, как звучит слово «Бог» для людей, Ему поклоняющихся. Короче, мистер Хаггин был богом Джерри.

Итак, когда мистер Хаггин, или бог, или называйте его, как хотите, пользуясь нашим ограниченным языком, властно и резко поднял Джерри, сунул его под мышку и спустился в вельбот, а черная команда сейчас же склонилась к веслам, Джерри немедленно всем своим существом ощутил, что началась полоса необычайного. Раньше он никогда не бывал на борту «Эренджи», выраставшего перед ним с каждым свистящим ударом весел, на которых сидели чернокожие.

Всего час назад Джерри прибежал из дому на берег поглядеть на отплытие «Эренджи». Уже дважды за полгода своей жизни испытывал он это удовольствие. А удовольствие было незаурядное — бегать вверх и вниз по белому берегу из коралла, раздробленного в песок, и под

мудрым руководством Бидди и Терренса не только принимать участие в суматохе, царившей на берегу, но и самому подбавлять жару.

Здесь происходила охота на негров. Джерри родился, чтобы ненавидеть негров. Еще писклявым щенком он на опыте убедился, что Бидди, его мать, и его отец Терренс ненавидят негров. На негра следовало рычать. На негра, если только он не был домашним слугой, нужно было кидаться, кусать его и рвать всякий раз, когда он появлялся во дворе фактории. Так поступала Бидди. Так поступал Терренс. Этим они служили своему богу — мистеру Хаггину. Негры были низшими двуногими созданиями, которые, как невольники, работали на своих двуногих белых господ, жили в рабочих бараках далеко в стороне и, как существа низшие и ничтожные, не смели приближаться к жилищу своих господ.

А охота на негров была отважным предприятием. Об этом Джерри узнал вскоре после того, как научился ползать. Приходилось идти на риск. Пока мистер Хаггин, Дерби или Боб находились поблизости, негры переносили преследования. Но случалось, что белых господ поблизости не было. Тогда правило гласило: «Берегись негров!» На охоту можно было отважиться, только приняв все меры предосторожности. В отсутствие белого господина негры имели привычку не только хмуриться и ворчать, но и нападать на собак, пуская в ход камни и палки. Джерри видел, как обижали его мать; да и его самого, пока он не научился уму-разуму, отколотил однажды в высокой траве негр Годарми, который носил на груди китайскую дверную ручку, висевшую на веревке, свитой из кокосовых волокон. Джерри помнил еще одно приключение в высокой траве, когда он и его брат Майкл сразились с негром Оуми, замечательным тем, что он носил на груди зубчатые колеса от будильника. Майкл получил такой удар по голове, что левое ухо у него навсегда осталось поврежденным; оно высохло, странно скрючилось и стояло твердо, торчком.

Мало того. У Джерри были брат Пэтси и сестра Кэтлин; два месяца тому назад они исчезли — перестали существовать. Великий бог мистер Хаггин в ярости метался по плантации. Обыскали заросли кустарника. Высекли с полдюжины негров. Мистеру Хаггину не удалось открыть тайну исчезновения Пэтси и Кэтлин. Но Бидди и Терренс знали. Знали и Майкл и Джерри. Четырехмесячные Пэтси и Кэтлин попали в кухонный котел в бараках, а их нежные щенячьи шкурки были сожжены. Джерри это знал не хуже, чем его отец, мать и брат; все они безошибочно распознали запах горелого мяса, а Терренс, придя в бешенство, даже напал на Могома, слугу, за что получил выговор и тумак от мистера Хаггина, ничего не почуявшего и не понявшего. А мистер Хаггин всегда насаждал дисциплину среди всех существ, обитавших под его крышей.

Но на берегу, где столпились со своими сундучками на головах чернокожие, у которых окончился срок службы, готовясь отплыть на «Эренджи», охота на негров не грозила опасностью. Здесь можно было свести старые счеты, другого случая уж не представилось бы, так как чернокожие, отплывавшие на «Эренджи», назад никогда не возвращались. Так, например, в то самое утро Бидди, вспомнив удар, полученный некогда от Леруми, впилась ему зубами в голую икру и сбросила его в воду вместе с сундучком и всем его земным имуществом, а затем радостно скалила зубы, глядя на него, уверенная в защите мистера Хаггина, который, ухмыляясь, взирал на эту картину.

Кроме того, на борту «Эренджи» обычно находилась какая-нибудь дикая собака, и Джерри и Майкл могли в полное удовольствие лаять на нее с берега. Однажды Терренс, который был немногим меньше эрдельтерьера и отличался такой же львиной храбростью, — Терренс Великолепный, как называл его Том Хаггин, — поймал дикую собаку, оскорбившую своим присутствием берег, и задал ей чудесную трепку. Джерри, Майкл и в то время еще здравствовавшие Пэтси и Кэтлин со звонким лаем приняли участие в битве. Джерри никогда

не мог забыть экстаза, охватившего его, когда пасть его наполнилась волосами, по запаху, несомненно, собачьими. Дикие собаки были собаками — он признавал в них свою породу, — но от его собственного высокого рода они чем-то отличались…

Джерри уже не смотрел на приближавшийся «Эренджи». Бидди, умудренная прежними горькими разлуками, села у самого края песка, опустив передние лапы в воду, и горестно завыла. Джерри знал, что этот вой вызван его участью, и скорбь эта остро, хотя и смутно, терзала его чувствительное, горячее сердце. Он не знал, что предвещает ее вой, и ощущал надвигающуюся на него катастрофу. Он глядел на нее, мохнатую, удрученную горем, и видел, как Терренс заботливо вертится вокруг. Терренс и Майкл тоже были мохнатыми, как Пэтси и Кэтлин, а Джерри являлся единственным гладкошерстным членом семьи.

Терренс — хотя об этом знал Том Хаггин, а не Джерри — был любящим и преданным супругом. Джерри с раннего детства помнил, как Терренс имел обыкновение много миль бегать с Бидди вдоль берега или по аллеям, обсаженным кокосовыми пальмами; они бежали бок о бок, у обоих были радостно-смеющиеся морды. Так как Джерри знал только Терренса, Бидди, своих братьев и сестер да немногих забегавших к ним диких собак, то и считал, что все собаки ведут себя так, остаются верными своим супружеским узам. Но Том Хаггин понимал всю необычность такого поведения.

— Славная порода! — не раз одобрительно заявлял он, и глаза его увлажнялись от умиления. — Настоящий джентльмен, этот Терренс, четвероногий честный мужчина. Пес-мужчина на четырех ногах, и не знаю, есть ли еще такой на свете. Высшая порода, ей-богу! Его кровь, умная голова и мужественное сердце скажутся в тысяче поколений.

Терренс если и горевал, то скорби своей вслух не проявлял; но его беспокойство о Бидди выражалось в том, что он кружился вокруг нее. Майкл, однако, заразился горем матери и, усевшись подле нее, гневно залаял на все увеличивавшуюся полосу воды, как стал бы лаять на всякую опасность, таящуюся в джунглях. Этот лай также сдавил сердце Джерри, и его предчувствие, что неведомая злая судьба надвигается на него, усилилось.

Для своих шести месяцев Джерри знал и слишком много и слишком мало. Он знал, не думая об этом и сам не зная откуда, почему Бидди — мудрая и храбрая Бидди — не послушалась влечения своего сердца и не бросилась в воду, чтобы плыть вслед за ним. Она защищала его, как львица, когда большая пуарка (такова была в словаре Джерри — вместе с хрюканьем и визгом

— комбинация звуков для слова «свинья») пыталась его сожрать, загнав в угол под домом на высоких сваях. Как львица, прыгнула Бидди на поваренка-негра, когда тот ударил его палкой, выгоняя из кухни. Она, не поморщившись, встретила сильный удар палки, затем повалила его на пол среди горшков и сковород и рвала зубами, пока ее не оттащил мистер Хаггин, на которого она впервые зарычала. Мистер Хаггин не рассердился на нее, но поваренок, осмелившийся поднять руку на собаку, принадлежащую богу, получил резкий выговор.

Джерри знал, почему его мать не бросилась вслед за ним в воду. Соленое море, как и лагуны, ведущие к нему, было табу. Слова «табу» не было в словаре Джерри. Но смысл или значение его он отчетливо сознавал. Он смутно, неясно, но твердо знал, что входить в воду для собак не только нехорошо, но и в высшей степени опасно, что такая смелость может повлечь за собой исчезновение собаки: в воде скользили, бесшумно двигались, иногда по поверхности, иногда выплывая со дна, большие чешуйчатые чудовища с огромными зубастыми челюстями; они утаскивали в глубину и глотали собаку с такой же быстротой, как куры мистера Хаггина клевали зерна.

Часто он слыхал, как его отец и мать, сидя в безопасности на берегу, с ненавистью лаяли на этих страшных обитателей моря, когда те появлялись на поверхности воды у самого берега, напоминая плавучие бревна. Слова «крокодил» не было в словаре Джерри. Крокодил был образом — образом плавучего бревна, отличавшегося от всякого другого бревна тем, что оно было живое. Джерри слышал, запоминал и узнавал много слов, и ему они служили тем же орудием мысли, что и человеку, хотя он, не наделенный даром членораздельной речи, не мог этих слов выговорить. Тем не менее в процессе мышления он пользовался образами так же, как люди пользуются словами. В конце концов и человек в процессе мышления поневоле прибегает к образам, которые соответствуют словам и дополняют их.

Быть может, в мозгу Джерри образ плавучего бревна был теснее и полнее связан с самим предметом, чем слово «крокодил» и сопутствующий ему образ в сознании человека. Ибо Джерри действительно знал о крокодилах больше, чем знают люди. Он мог почуять запах крокодила на большем расстоянии и более отчетливо, чем любой человек, даже негр-островитянин или житель лесов. Он знал, когда крокодил, вылезший из лагуны, лежит неподвижно и, быть может, спит в тростнике джунглей на расстоянии сотни футов.

О языке крокодилов он знал больше, чем знает любой человек. У него было больше способов и возможностей изучить его. Он знал издаваемые ими разнообразные звуки, похожие на хрюканье и потрескивание. Он узнавал по этим звукам, когда крокодилы сердятся или испуганы, голодны или ищут любви. И эти звуки в его словаре занимали такое же определенное место, как слова в словаре человека. Они служили ему орудием мысли. По ним он взвешивал, решал и определял свое собственное поведение, как это делает каждый человек, или, подобно человеку, лениво отказывался от какого-либо действия и только отмечал и запоминал, что вокруг него происходило и не требовало с его стороны никакого соответствующего поступка.

И все же очень многого Джерри не знал. Он не знал величины земного шара. Он не знал, что лагуна Мериндж, окаймленная сзади высокими, поросшими лесом горами, а спереди прикрытая коралловыми островками, отнюдь не была всей вселенной. Он не знал, что она являлась лишь частью большого острова Изабеллы. А Изабелла была лишь одним — и даже не самым большим — из тысячи образующих группу Соломоновых островов, которую люди обозначали на картах скоплением пятнышек в юго-западной части Тихого океана.

Правда, он смутно подозревал о существовании чего-то иного за пределами лагуны Мериндж. Но это «что-то» было окутано тайной. Оттуда внезапно появлялись вещи, которых раньше не было. Куры, пуарки и кошки, никогда раньше здесь не бывавшие, имели обыкновение вдруг появляться на плантации Мериндж. Однажды произошло даже вторжение странных четвероногих, рогатых и волосатых существ, образы которых запечатлелись в его мозгу. В человеческом словаре им соответствовало слово «козы».

То же происходило и с неграми. Они появлялись внезапно, неведомо откуда и разгуливали по плантации Мериндж, высокие, с повязками на бедрах и с костяными палочками, продетыми в носу. Мистер Хаггин, Дерби и Боб назначали им работу. Их появление совпадало с прибытием «Эренджи», и это казалось Джерри делом само собой разумеющимся. Он над этим не задумывался, отметив только, что их случайное исчезновение за пределами плантации точно так же совпадало с отплытием «Эренджи».

Джерри не допытывался о причине этих появлений и исчезновений. В его золотисто-рыжей голове никогда не появлялось желания полюбопытствовать и постараться разрешить тайну. Он принимал ее точно так же, как принимал сырую погоду и тепло солнечных лучей. Так делалось в той жизни и в том мире, которые он знал. Он смутно о чем-то подозревал, кстати, это

подозрение соответствует неясному представлению человека о тайнах рождения, смерти и потустороннего, — тайнах, которые человек до конца раскрыть не может.

Быть может, кеч «Эренджи», торговое судно, набиравшее негров-рабочих на Соломоновых островах, был для Джерри такою же таинственной лодкой, связывающей два мира, какою в былые времена казалась людям лодка Харона, перевозившая через Стикс. Люди приходили из ничего. В ничто они и уходили. А приходили и уходили они всегда на «Эренджи».

И в это добела раскаленное тропическое утро к «Эренджи» в вельботе направлялся Джерри, сидя под мышкой у своего мистера Хаггина; на берегу Бидди выплакивала свое горе, а непосредственный Майкл своим лаем посылал в неизвестное вечный вызов юности.

Глава вторая

Чтобы перейти с вельбота на низкий борт «Эренджи», нужно было сделать только шаг; Том Хаггин, все еще держа под мышкой Джерри, легко переступил на палубу через шестидюймовые поручни из тикового дерева. На палубе толпились люди. Эта оживленная толпа заинтересовала бы всякого человека, не привыкшего к путешествиям, как заинтересовала Джерри, но для Тома Хаггина и капитана Ван Хорна она являлась лишь привычным явлением повседневной жизни.

Палуба была маленькая, ибо «Эренджи» вообще был маленьким судном. Это была прогулочная яхта из тикового дерева, с латунными украшениями, скрепленная по углам медью и железом, с медной обшивкой, как у военного судна, и бронзовым килем. Позже ее продали на Соломоновы острова для охоты «за черной птицей», или ловли негров. На языке закона эта охота называлась достойно — «вербовкой».

«Эренджи» занимался вербовкой негров и отвозил захваченных каннибалов с отдаленных островов на новые плантации, где белые люди превращали туманные и ядовитые болота и джунгли в густые рощи стройных кокосовых пальм. Две мачты «Эренджи» из орегонского кедра были так выскоблены и напарафинены, что сияли на солнце, как коричневые опалы. Под парусами «Эренджи» шел великолепно и подчас с такой скоростью, что капитан Ван Хорн, его белый помощник и команда из пятнадцати негров едва могли справиться с работой. В длину судно имело шестьдесят футов, а палубные надстройки не ослабляли подпалубных бимсов. Единственными отверстиями, для которых, однако, не пришлось распиливать бимсы, были люки в главную и капитанскую каюты, люк на носу, на крохотном баке, и маленький люк на корме, ведущий в кладовую.

И на такой маленькой палубе находились, помимо команды, «обратные» негры с трех отдаленных плантаций. Под словом «обратные» подразумевалось, что они отработали свои три года и, согласно контракту, их отвозили в родные деревни на диком острове Малаита. Из них двадцать человек — все знакомые Джерри — были из Меринджа; тридцать прибыли из Бухты Тысячи Кораблей, с островов Руссель; остальные двенадцать ехали из Пендерфрина на восточном берегу Гвадалканара. Кроме чернокожих — а все они были на палубе, переговариваясь на своем странном языке, напоминавшем птичье щебетание, — тут же находились и двое белых: капитан Ван Хорн и его помощник датчанин Боркман — всего семьдесят девять человек.

— А я уж думал, что в последний момент у вас не хватит мужества, — приветствовал Хаггина капитан Ван Хорн. Глаза его радостно вспыхнули при виде Джерри.

— Похоже было на то, — ответил Том Хаггин. — Только для вас я мог это сделать. Джерри —

лучший из всех щенят, не считая, конечно, Майкла. Только эти двое и остались, а пропавшие были ничуть не хуже. Кэтлин была славная собака, вылитая Бидди, если б осталась жива… Вот, берите его!

Он торопливо передал Джерри в руки Ван Хорна и, отвернувшись, зашагал по палубе.

— Если с ним приключится беда, я вам этого никогда не прощу, шкипер,

— резко бросил он через плечо.

— Раньше им придется голову с меня снять, — усмехнулся шкипер.

— И это, старина, может случиться, — проворчал Хаггин. — Мериндж в долгу перед Сомо, четыре головы остались здесь: трое умерли от дизентерии, а четвертого на прошлой неделе придавило дерево. К тому же он был сыном вождя.

— Да. И «Эренджи» ответит перед Сомо еще за две головы, — кивнул Ван Хорн. — Помните, в прошлом году на юге парень по имени Гаукинс погиб со своим вельботом в проливе Арли? — Хаггин, направлявшийся вдоль палубы, кивнул головой. — Двое из его команды были из Сомо. Я их завербовал для плантации Уги. С вашими ребятами это выходит шесть голов. Но что за беда? В одной приморской деревне на подветренном берегу за «Эренджи» числится восемнадцать. Я их завербовал для Аоло; а так как они знали морское дело, то их и посадили на «Москита», а «Москит» погиб на пути в Санта-Крус. Они там на подветренном берегу уже котел приготовили… Ей-богу, парень, который сможет добыть мою голову, станет вторым Карнеги[4]. Деревня собрала сто пятьдесят свиней и бессчетное количество раковин, которые идут для обмена тому, кто поймает и выдаст меня.

— Пока что не поймали, — фыркнул Хаггин.

— А я не боюсь, — беззаботно откликнулся тот.

— Вы говорите, как бывало, говаривал Арбекл, — заявил Хаггин. — Я не раз слышал его разглагольствования. Бедняга Арбекл!.. Самый надежный и самый осторожный парень, какой когда-либо имел дело с неграми. Он никогда спать не ложился, не разбросав по полу гвоздей, или если их не было, то смятых газет. Помню, жили мы с ним на Флориде под одной крышей; ночью большой кот погнался за тараканом и загнал его в бумагу. А Арбекл сейчас же пиф-паф, пиф-паф, — шесть раз выстрелил из своих двух больших револьверов. Дом продырявил, как решето, и кота убил! Он умел стрелять в темноте, без прицела: собачку спускал указательным пальцем, а большой палец держал на дуле. Э, нет, приятель! На что уж был молодчина… Казалось, не родился еще негр, который ухитрился бы снять с него голову. А все-таки они его заполучили. Да, заполучили. На четырнадцать лет его хватило. А прикончил его повар. Ударил топором перед самым завтраком. Я хорошо помню наше второе путешествие в джунгли за его останками.

— Я видел его голову после того, как вы ее передали комиссару в Тулаги, — добавил Ван Хорн.

— И такое спокойное, мирное лицо у него было и та же улыбка, какую я видел тысячу раз. Голова высохла над костром… А все же они его заполучили, хоть им и понадобилось для этого четырнадцать лет. Многие отправляются на Малаиту и некоторое время удерживают голову на плечах, но… повадился кувшин по воду ходить — там ему и голову сломить.

— Но козыри-то на руках у меня, — настаивал капитан. — Чуть запахнет бедой, я иду прямо к ним и объясняю, как и что. Они не могут понять, в чем тут дело. Думают, что у меня есть

какое-то сильное волшебное зелье.

Том Хаггин неожиданно протянул руку и попрощался, стараясь не смотреть на Джерри, которого держал Ван Хорн.

— Следите за моими «обратными», — предостерег он, спускаясь в вельбот, — следите, пока не высадите на берег последнего из них. У них нет основания любить Джерри и всю его породу, а мне будет противно, если он погибнет от руки черного. А ночью, в темноте, его могут отправить за борт. Не спускайте с них глаз, пока не разделаетесь с последним.

Видя, что мистер Хаггин покидает его и отплывает в вельботе, Джерри беспокойно завертелся и тихонько заскулил. Капитан Ван Хорн теснее прижал его к себе и погладил свободной рукой.

— Не забудьте об условии! — крикнул Том Хаггин. — Если с вами что-нибудь случится, Джерри должен вернуться ко мне.

— Я напишу распоряжение и спрячу его вместе с судовыми документами, — отозвался Ван Хорн.

Среди многих слов, которые знал Джерри, он знал и свое собственное имя. В разговоре двух белых оно повторялось несколько раз, и Джерри понял, что речь идет о чем-то неопределенном и ужасном, надвигающемся на него. Он еще энергичнее заерзал, и Ван Хорн опустил его на палубу. Джерри прыгнул к поручням с такой быстротой, какую трудно было ожидать от неуклюжего шестимесячного щенка, и попытка Ван Хорна остановить его не увенчалась бы успехом, если бы Джерри не отступил перед водой, лизавшей борт «Эренджи». Он вспомнил о табу. Его остановил образ плавучего бревна, какое было вовсе не бревном, а чем-то живым. Не рассудок заговорил в нем, а запрет, вошедший в его плоть и кровь.

Он присел на свой обрубленный хвостик, поднял к небу золотистую мордочку и в отчаянии залился протяжным щенячьим воем.

— Ничего, Джерри! Возьми себя в руки и будь мужчиной! — успокаивал его Ван Хорн.

Но утешить Джерри было не так легко. Хотя Ван Хорн, несомненно, был белокожим богом, но это был не его бог. Его богом был мистер Хаггин, и к тому же высшим богом. Это ощущал Джерри, даже совершенно о том не думая. Его мистер Хаггин носил штаны и ботинки. А бог, стоявший подле него на палубе, был одет скорее как чернокожий. Штанов он не носил и ходил босиком. Мало того: вокруг бедер у него, как и у всякого чернокожего, была обмотана яркая набедренная повязка, которая спускалась, как юбка, почти до самых его колен.

Капитан Ван Хорн был красив, хотя Джерри этого не понимал. Несмотря на то, что он родился в Нью-Йорке, он походил на голландца, выступившего из рамы рембрандтовского портрета. И предки его жили там же еще в те времена, когда Нью-Йорк был не Нью-Йорком, а Новым Амстердамом[5]. На Ван Хорне была шестипенсовая белая бумажная рубашка, прикрывавшая торс и пояс, на котором болтались кисет с табаком, нож в ножнах, патронные обоймы и большой автоматический револьвер в кожаной кобуре. Костюм его завершала в рембрандтовском стиле заломленная набекрень мягкая шляпа.

Бидди, притихшая было на берегу, услышала визг Джерри и снова подняла вой. А Джерри примолк на секунду, чтобы прислушаться, и услыхал, как Майкл бешено лает подле нее; и увидал Джерри, что высохшее его ухо по обыкновению упорно стоит торчком. Когда же капитан Ван Хорн и помощник Боркман отдали распоряжение поднять грот и контр-бизань, Джерри излил всю свою скорбь в отчаянном вое, по поводу которого на берегу Боб заявил

Дерби, что это — «величайшее вокальное упражнение», какое он когда-либо слышал от собаки, и будь голос чуточку ниже, Карузо[6] нечем было б похвалиться перед Джерри. Но Хаггин не мог вынести этого, едва высадившись на берег, он свистнул Бидди и быстро зашагал прочь.

При виде удалявшейся матери Джерри еще более уподобился Карузо, чем доставил величайшее удовольствие негру из Пендефрина, стоявшему подле. Он захохотал, поддразнивая Джерри пискливым фальцетом, напоминавшим скорее птичьи звуки обитателей джунглей, чем голос человека — человека настоящего и, следовательно, бога. Это подействовало, как превосходное противоядие. Джерри был охвачен негодованием — какой-то чернокожий смеется над ним! — и через секунду его щенячьи зубы, острые, как иглы, оставили на голой икре пораженного негра длинные параллельные царапины, из которых сейчас же брызнула кровь. Чернокожий поспешно отскочил, но в Джерри была кровь Терренса Великолепного, и, подобно своему отцу, он прыгнул вперед и расцветил другую икру красноватым узором.

Якорь был поднят, передние паруса поставлены. Капитан Ван Хорн, зоркие глаза которого не упустили ни одной детали происходившего, отдал распоряжение чернокожему рулевому и повернулся, чтобы похвалить Джерри.

— Валяй, Джерри! — поощрял он. — Хватай его! Вали! Кусай его! Хватай!

Чернокожий, защищаясь, лягнул Джерри, но тот прыгнул вперед, вместо того чтобы отскочить в сторону, — еще один прием, унаследованный им от Терренса, — ускользнул от голой пятки и отпечатал новую серию красных линий на черной ноге. Это было уже слишком, и негр, боясь скорее Ван Хорна, чем Джерри, повернулся и кинулся на нос, ища спасения на груде ли-энфильдских ружей, которые были сложены на люке каюты и охранялись одним из матросов. Джерри бушевал около люка, прыгая и крутясь вокруг, пока капитан Ван Хорн не отозвал его.

— Этот щенок — славный охотник за неграми, славный охотник, — сообщил Ван Хорн Боркману, наклонившись, чтобы погладить Джерри и выразить ему свое одобрение.

А Джерри под ласкающей рукой бога, правда, не носившего штанов, забыл на секунду постигшую его судьбу.

— Лев, а не собака, он скорее похож на эрдельтерьера, а не на ирландского, — говорил Ван Хорн своему помощнику, продолжая гладить Джерри. — Посмотрите, какой он крупный. Посмотрите, какая у него кость. Вот это грудь! А какая выносливость! Из него выйдет славная собака, когда он подрастет. По лапам видно.

Джерри внезапно вспомнил о своем горе и бросился через палубу к поручням, чтобы в последний раз взглянуть на Меринджа, уменьшавшийся с каждой секундой. В эту минуту порыв юго-восточного пассата надул паруса, и «Эренджи» накренился. Джерри, тщетно цепляясь за гладкую поверхность, чтобы удержаться, скользя, покатился по палубе, наклонившейся под углом в сорок пять градусов. Он долетел до основания бизань-мачты, а капитан Ван Хорн, зорким глазом моряка заметив прямо по носу коралловый риф, скомандовал:

— Руль под ветер!

Боркман и чернокожий рулевой повторили его слова, и с поворотом штурвала «Эренджи» быстро повернулся по ветру и выровнялся.

Джерри, все еще поглощенный Меринджем, воспользовался тем, что палуба пришла в горизонтальное положение, и, оправившись, пополз к поручням. Но ему не удалось добраться до цели: раздался треск блока грота-шкота, скользнувшего по крепкому бугелю, и грот,

перекинутый ветром, с бешеной скоростью пронесся над головой Джерри. Он избег опасности, сделав дикий прыжок, — такой же прыжок сделал и Ван Хорн, бросившийся к нему на помощь,

— и очутился как раз под грота-гиком; огромный парус высился над ним, словно готовясь рухнуть на него и сокрушить.

Это было первое знакомство Джерри с парусами. Он не был знаком со зверями и не знал их повадок, но когда был еще крохотным щенком, в памяти его запечатлелся образ ястреба, свалившегося на него с неба. Теперь под угрозой этого колоссального чудовища он припал к палубе. Над ним, падая, как стрела, из синевы, навис крылатый ястреб, неизмеримо больше того, с каким ему пришлось раньше встретиться. Но, припадая к земле, Джерри отнюдь не пытался спрятаться. Съежившись и собирая все силы, он готовился к прыжку, чтобы встретиться на полпути с этим грозным чудовищем.

Через секунду вторично раздался треск блока на бугеле, и грот пролетел мимо. Джерри прыгнул, но не увидел даже тени паруса.

Ван Хорн наблюдал за ним. Раньше ему приходилось видеть, как молодые собаки буквально до безумия пугались при первой встрече с парусами, закрывающими собой небо и грозно свисающими вниз. Джерри был первой собакой, бесстрашно прыгнувшей с оскаленными зубами, чтобы вступить в бой с чудовищным Неизвестным.

С неподдельным восхищением Ван Хорн поднял Джерри на руки и прижал к себе.

Глава третья

Джерри на время совсем позабыл о Мериндже. Он хорошо помнил, что у ястреба были острые когти и клюв. За этим грохочущим в воздухе чудовищем нужно было следить. И Джерри, приседая для прыжка и упорно стараясь удержаться на скользкой, накреняющейся палубе, не спускал глаз с грота и тихонько ворчал при каждом намеке на движение с его стороны.

«Эренджи» шел по узкому каналу между коралловыми рифами, против свежего пассатного ветра. Это вызывало необходимость лавировать, и грот наверху то и дело перелетал с левого галса на правый и обратно, производя шум, напоминающий взмах крыльев; рифы хлестали, а блок громко трещал на бугеле. Несколько раз, когда грот проносился над головой, Джерри бросался на него, готовый вцепиться; его чистые щенячьи зубы были оскалены и блестели на солнце, как драгоценные безделушки из слоновой кости.

Каждый прыжок кончался неудачей, и Джерри пришел к определенному выводу. Следует, между прочим, отметить, что этот вывод, несомненно, являлся результатом мыслительного процесса. Из наблюдений над предметом, все время ему угрожавшим, из ряда своих нападений он вывел заключение, что этот предмет ему не вредит и даже не приходит с ним в соприкосновение. Он понял, что это не столь опасная вещь, какою она сначала ему показалась. Быть может, не мешает ее остерегаться, хотя в его классификации она уже заняла свое место в ряду предметов, которые казались страшными, но в действительности таковыми не были. Таким же путем он научился не бояться рева ветра среди пальм, когда лежал на веранде дома, и атаки волн, с шипением разбивавшихся в кипящую пену и брызги на берегу, у самых его ног.

Не раз в течение дня Джерри весело, небрежно, чуть ли не юмористически поглядывал на грот, когда тот проносился мимо. Но больше он уже не припадал к палубе и не прыгал. Это был первый урок, и он быстро его усвоил.

Покончив с гротом, Джерри мысленно вернулся к Меринджу. Но никакого Меринджа не было; не было Бидди, Терренса и Майкла на берегу; не было ни мистера Хаггина, ни Дерби, ни Боба; не было ни берега, ни земли с пальмами на переднем плане и далекими горами, вечно вздымающими к небу свои зеленые вершины. Где бы он ни стоял, положив передние лапы на шестидюймовые поручни, на правом или на левом борту, на носу или на корме, всюду он видел только волнующийся океан, который под напором пассата мирно и ритмично гнал свои волны, увенчанные белыми гребнями.

Будь Джерри ярда на два выше и имей он глаза опытного моряка, он мог бы разглядеть на севере низкую полоску острова Изабеллы, а на юге очертания Флориды, обрисовывавшиеся все яснее по мере того, как «Эренджи», сильно накренясь, с натянутыми шкотами, полным ходом шел на левом галсе навстречу юго-восточному пассату. А имей Джерри возможность воспользоваться морским биноклем, который усиливал зрение капитана Ван Хорна, он увидел бы на востоке возвышающиеся над морем далекие вершины Малаиты, похожие на розоватые дымки облаков.

Но то, что окружало Джерри, имело к нему непосредственное отношение. Он рано усвоил железный закон необходимости и научился принимать то, что есть, а не гнаться за далекими вещами. Море было; это была реальность. Земли больше не было. «Эренджи» — тоже реальность, как и живые существа, толпившиеся на его палубе. И он стал знакомиться с тем, что было, — короче, узнавать новую обстановку и приспособляться к ней.

Первое его открытие оказалось восхитительным. Это была местная дикая собака — щенок из зарослей на острове Изабеллы; ее вез на Малаиту один из чернокожих с плантации Меринж. По возрасту они были одинаковы, но разной породы. Туземная собака была собакой дикой, подлой и раболепной. Уши у нее вечно были опущены, хвост болтался между ногами; она всегда опасалась нового несчастья и новой обиды; трусливая и мстительная, под угрозой удара злобно кривила пасть, обнажая щенячьи клыки; припадала к земле, когда ее били, выла от страха и боли и всегда была готова на предательский укус, если представлялся удобный случай.

Дикая собака физически была более развита, чем Джерри, сильнее и злее, чем он, но в жилах Джерри текла благородная кровь, он был храбр и чистокровен. Дикая собака тоже появилась на свет в результате не менее сурового отбора, но здесь отбор носил иной характер. Из лесных предков, от которых она происходила, выживали самые трусливые. Они никогда добровольно не вступали в бой с сильнейшим противником. Они никогда не нападали в открытую, за исключением тех случаев, когда добыча была слаба или беззащитна. Храбрость они заменили нападением исподтишка, они ускользали, прятались от опасности. Это был слепой отбор природы. Они выжили в жестокой и подлой среде, где жизнь покупалась главным образом ценой трусливой хитрости, а иногда отчаянным нападением из-за угла.

Отбором предков Джерри руководили любовно. Только смелые выжили из них. Его предки были сознательно и разумно отобраны людьми, которые где-то в далеком прошлом занялись дикой собакой и сделали ее такой, какой она представлялась им в мечтах и какою они желали ее видеть. Она никогда не должна была сражаться в углу, как крыса, так как не должна была походить на крысу и забиваться в угол. Она не должна была отступать. Собаки, которые отступали, не нужны были людям. Не они сделались предками Джерри. Его предки, отобранные людьми, были храбрыми псами, стойкими и дерзкими, они кидались навстречу опасности, сражались и умирали, но никогда не оставляли поля битвы. А так как каждый рождает себе подобного, то Джерри был таков, каким был до него Терренс и какими сотни лет назад были праотцы Терренса.

Поэтому Джерри, случайно заметив дикую собаку, забившуюся в защищенный от ветра уголок между гротом и люком каюты, не стал размышлять о том, что противник крупнее и сильнее, чем он. Он знал только одно: перед ним древний враг — дикая собака, далеко обходившая костры человека. С победным и радостным лаем, привлекшим внимание всевидящего и всеслышащего капитана Ван Хорна, Джерри бросился в атаку. Дикий щенок с невероятной быстротой обратился в бегство, но был настигнут Джерри и кубарем покатился по наклонной палубе. Катаясь и ощущая острые зубы, впивающиеся в него, он то огрызался и щелкал зубами, то повизгивал и хныкал, и в этом визге слышались ужас, боль и подлое смирение.

А Джерри был джентльменом, иными словами, благородным псом. Таким его вырастили. Так как враг не сопротивлялся, гнусно визжал и беспомощно ежился под ним, Джерри перестал нападать и выбрался из шпигата, куда они скатились. Он не размышлял о своем поступке. Он это сделал, ибо таким был создан. Он выпрямился на качающейся палубе и с удовольствием ощущал во рту восхитительный вкус собачьих волос, а в ушах его звучал одобрительный возглас капитана Ван Хорна:

— Умник, Джерри! Ты, Джерри, молодчина! Славный пес!

Уходя от места сражения, Джерри, можно сказать, возгордился и важно перебирал лапами. Он оглянулся через плечо на пищавшую собаку, словно говоря: «Ну, думаю, на этот раз тебе хватит. Теперь не попадайся мне на пути!»

Джерри продолжал обследовать свой новый крохотный мирок, который никогда не пребывал в покое, постоянно вздымаясь и опускаясь на волнующейся поверхности моря. Тут находились чернокожие, возвращавшиеся с плантаций Мериджа. Он решил осмотреть каждого из них; его встречали воркотней и бранью, а он отвечал грозным рычанием. Он был выдрессирован так, что хоть и разгуливал на четырех ногах, но считал себя выше этих двуногих, ибо всегда жил под эгидой великого двуногого бога, носившего штаны, — мистера Хаггина.

Кроме того, здесь были чужие рабочие из Пендефрина и из Бухты Тысячи Кораблей. Джерри хотел узнать их всех. В будущем это знание могло ему понадобиться. Об этом он не думал. Он просто знакомился с окружающей средой, не заботясь о будущем и не осознавая, что принимает меры предосторожности.

Обогащаясь опытом, Джерри быстро обнаружил, что на «Эренджи», так же как и на плантации, где домашние слуги отличались от работавших в поле, существует класс людей, отличный от возвращавшихся рабочих. Это была судовая команда. Пятнадцать чернокожих, составлявших ее, были ближе к капитану Ван Хорну, чем все остальные. Они, казалось, принадлежали «Эренджи» и Ван Хорну. Они исполняли его приказания, стояли на руле, тянули снасти, втаскивали из-за борта ведра с водой и терли палубу щетками.

От мистера Хаггина Джерри узнал, что должен снисходительно относиться к домашней прислуге; теперь капитан Ван Хорн научил его быть более снисходительным к судовой команде, чем к возвращавшимся рабочим. С командой он мог позволять себе меньше вольностей, чем с остальными. Пока капитан Ван Хорн не хотел, чтобы он охотился за его командой, Джерри считал своим долгом не охотиться. С другой стороны, он всегда помнил, что он собака белого бога. Хотя этих негров он и не преследовал, но от всякой фамильярности с ними воздерживался. Он наблюдал за ними. Ему приходилось видеть, как мистер Хаггин стегал хлыстом своих чернокожих слуг. Они являлись промежуточным звеном в схеме мира, и за ними следовало следить, чтоб они не забывали своего места. Джерри предоставлял им место, но равенства он не допускал. В лучшем случае он мог свысока удостаивать их своим вниманием.

Джерри основательно обследовал кухню. Это было неуклюжее помещение на палубе, открытое ветрам, дождю и буре, где два чернокожих в облаках дыма ухитрялись готовить на маленькой печке еду для восьмидесяти человек, находившихся на борту.

Затем Джерри заинтересовался странным поведением судовой команды. В поручни «Эренджи» были ввинчены прямые трубы, служившие подпорками для рядов колючей проволоки, которая обегала все судно. Единственный узкий прорыв в пятнадцать дюймов был сделан для выхода к трапу. Джерри понимал, что это была мера предосторожности против опасности, хотя он и не задумывался над этим. Всю свою жизнь, с самого первого дня, он провел, окруженный опасностью, постоянно грозившей со стороны чернокожих. В доме на плантации Мериндж белые всегда с подозрением поглядывали на многочисленных негров, работавших на них и им принадлежавших. В жилой комнате, где был обеденный стол, бильярд и фонограф, стояли козлы для ружей, а в каждой спальне, у каждой кровати лежали под рукой револьверы и винтовки. Мистер Хаггин и Боб, уходя из дому к своим чернокожим, всегда носили у пояса револьверы.

Джерри знал, для какой цели служат эти производящие шум предметы, — то были орудия разрушения и смерти. Ему приходилось видеть, как они уничтожали живые существа: свиней, птиц и крокодилов. С помощью этих предметов белые боги по воле своей преодолевали пространство, не трогаясь с места, и убивали живые существа. А он, Джерри, чтобы причинить кому-нибудь вред, должен был преодолеть пространство и приблизиться к своему противнику. Он был иначе устроен. Он был ограничен в своих возможностях. Для совершенных двуногих белых богов все невозможное оказывалось возможным. Их способность уничтожать вещи, отделенные расстоянием, являлась как бы дальнейшим развитием когтей и клыков. Не задумываясь и не пытаясь осмыслить это, он принимал это так же, как принимал весь окружающий его таинственный мир.

Однажды, в прошлом, Джерри случилось увидеть, как мистер Хаггин посеял смерть на расстоянии, но на другой манер. С веранды он видел, как тот швырнул палочки динамита в галдевшую толпу чернокожих, явившихся из внешнего мира на своих длинных черных военных лодках, остроносых, резных и инкрустированных перламутром, которые они втащили на берег у плантации Мериндж.

Джерри видал немало мер предосторожности, принимаемых белыми богами, и теперь бессознательно увидел в этой ограде из колючей проволоки на плавучем мирке признак постоянной опасности. Гибель и смерть бродили вокруг, высматривая удобный случай, чтобы напасть на жизнь и задушить ее. Чтобы жить, следовало быть начеку — этот закон Джерри вывел из того немногого, что знал о жизни.

Пока натягивали колючую проволоку, у Джерри произошло еще одно приключение с Леруми, рабочим из Меринджа, которого в то утро Бидди столкнула в воду со всеми его пожитками. Они встретились на штирборте у люка; Леруми разглядывал себя в дешевенькое зеркальце и расчесывал жесткие волосы деревянным гребнем ручной работы.

Джерри, не обращая внимания на присутствие Леруми, пробегал на корму, где помощник капитана Боркман следил, как команда натягивает на подпорки колючую проволоку. А Леруми огляделся по сторонам, убедился, что его ноги никому не видны, прицелился и лягнул сына своего четвероногого врага. Голая нога больно ударила Джерри по кончику недавно обрубленного хвоста, и Джерри, оскорбленный таким святотатством, немедленно пришел в бешенство.

Капитан Ван Хорн стоял на корме на левом борту, определяя по парусам направление ветра и

следя за чернокожим рулевым, и не видел Джерри, заслоненного люком. Но он заметил, как Леруми дернул плечом, пока, балансируя на одной ноге, другой наносил удар. И следующие события помогли ему догадаться о том, что произошло.

Вой Джерри, когда он упал, перевернулся, прыгнул и укусил, был поистине щенячьим воплем негодования. Он вцепился в лодыжку и, получив второй удар, скатился по палубе в ватервейс; но на черной коже остались красные следы его острых, как игла, зубов. Все еще визжа от негодования, он пополз, цепляясь когтями, по крутому деревянному холму.

Леруми, снова бросив взгляд по сторонам, убедился, что за ним следят и через край хватать нельзя. Он бросился бегом вдоль люка, пытаясь ускользнуть вниз, но острые зубы Джерри впились в его икру. Как раз в эту минуту внезапный порыв ветра надул паруса, и Леруми растянулся во всю длину. Тщетно стараясь подняться на ноги, он налетел на колючую проволоку с подветренной стороны.

Чернокожие, толпившиеся на палубе, завизжали от удовольствия, а Джерри, видя своего противника выбитым из строя и по ошибке сочтя себя объектом насмешек, с не меньшим бешенством накинулся на негров, хватая и кусая пролетавшие мимо него ноги. Они попрыгали вниз в трюм и на трап, ведущий на полубак, взобрались на бушприт, влезли на снасти и повисли в воздухе, как чудовищные птицы. В конце концов палуба осталась за Джерри, если не считать судовой команды; но Джерри уже научился делать различие. Капитан Ван Хорн подозвал Джерри, приласкал его и со смехом осыпал похвалами; затем повернулся к своим многочисленным пассажирам и произнес речь на чудовищном английском морском жаргоне.

— Эй вы, ребята! Я вам говорю. Этот пес принадлежит мне. Если кто из вас, парней, этого пса тронет, тому придется плохо. Ей-богу, я из него семь склянок выбью! Вы своим ногам воли не давайте. А я придержу свою собаку. Поняли?

И пассажиры, все еще висевшие в воздухе, поблескивая черными глазами и жалобно чирикая между собой, приняли закон белого. Даже Леруми, порядком поцарапанный колючей проволокой, не ругался и не грозил. Потирая пальцами свои царапины, он прошептал: «Ей-богу, здоровый парень этот пес! Здоровый парень!» — чем вызвал усмешку шкипера и оглушительный хохот товарищей.

Но Джерри нельзя было назвать злым. Как Бидди и Терренс, он был буйным и бесстрашным; эти качества он получил по наследству. И, как Бидди и Терренс, он испытывал удовольствие от охоты на негров. Это был результат дрессировки; так дрессировали его, когда он был еще крохотным щенком. Негры были неграми, а белые люди были богами, и белые боги научили его преследовать негров и следить, чтобы они занимали подобающее им низшее место в мире. Белые держали в своих руках весь мир. Негры… Разве не знал он, что они всегда вынуждены оставаться в своем жалком положении? Разве не видел он, как на плантации Мериндж их привязывали иногда к пальмам и хлестали по спине, вырывая клочья мяса? Не удивительно, что породистый ирландский терьер, окруженный любовью белого бога, смотрел на негров глазами белого бога и вел себя с ними так, чтобы заслужить его похвалу.

Для Джерри выдался хлопотливый денек. На «Эренджи» все для него было ново и странно, и здесь то и дело случались любопытные вещи. У Джерри произошла еще одна встреча с дикой собакой, которая предательски напала на него с фланга из засады. Сундучки с имуществом чернокожих были сложены в беспорядке, и между двумя ящиками в нижнем ряду осталось небольшое пространство. Из этой дыры дикая собака прыгнула на Джерри, пробегавшего мимо на зов шкипера, вонзила острые зубы в желтую бархатную шкуру Джерри и поспешно юркнула назад, в свою нору.

Снова чувства Джерри были оскорблены. Атаку с фланга он понимал. Часто он играл так с Майклом, хотя у них это была только игра. Но отступать, не сражаясь, когда бой уже начался, было чуждо привычкам и характеру Джерри. Со справедливым негодованием он бросился в дыру за своим врагом. Но здесь все преимущества были на стороне дикой собаки, — она лучше всего сражалась в углу. Когда Джерри прыгнул в узкое пространство, он ударился головой о верхний сундучок и через секунду почувствовал у самой своей морды оскаленную пасть врага.

Не было никакой возможности добраться до дикой собаки, налететь на нее всей тяжестью, как это делается в открытой атаке. Джерри оставалось только ползти, вертеться и рваться вперед, и всякий раз его встречали оскаленные зубы. И все же в конце концов он одолел бы ее, если бы проходивший мимо Боркман не наклонился и не вытянул Джерри за заднюю лапу. Снова раздался зов капитана Ван Хорна, и Джерри послушно побежал на корму.

Обедали на палубе в тени контр-бизани, и Джерри, сидевший между двумя мужчинами, получил свою порцию. Он уже успел вывести заключение, что из двух белых капитан был высшим богом, отдававшим приказания, которым повиновался помощник. Помощник же, в свою очередь, командовал чернокожими, но никогда не отдавал приказаний капитану. Джерри почувствовал влечение к капитану и ближе к нему придвинулся. Когда он сунул нос в тарелку капитана, ему ласково сделали выговор. Но когда он только понюхал дымящуюся чашку чая помощника, тот щелкнул его по носу грязным пальцем. И помощник ни разу не дал ему есть.

Капитан Ван Хорн дал ему прежде всего миску овсяной каши, щедро полив ее сгущенными сливками и подсластив сахаром; сахару он высыпал ложку с верхом. Затем он то и дело давал ему ломтики хлеба с маслом и кусочки жареной рыбы, заботливо вытащив сначала мелкие кости.

Его возлюбленный мистер Хаггин никогда не кормил его во время обеда, и теперь Джерри был наверху блаженства. И, будучи еще молоденьким щенком, он до того увлекся, что вскоре стал настойчиво приставать к капитану, требуя еще рыбы и хлеба с маслом. Один раз он даже пролаял свою просьбу. Это навело капитана на мысль научить его «говорить», и он сейчас же принялся за дело.

Через пять минут Джерри научился «говорить», тихо и только один раз — мягким, ласкающим, односложным лаем. И тут же он усвоил слово «сядь», как отличающееся от «ляг», и узнал, что должен садиться всякий раз, когда говорят, а затем ждать, пока не дадут куска.

Далее его словарь обогатился тремя словами. Отныне «говори» стало означать для него «говори», а «сядь» означает «сядь» и отнюдь не «ляг». Третье слово было «шкипер». Он слышал, как помощник несколько раз называл этим именем капитана Ван Хорна. И точно так же, как когда кто-нибудь из людей кричал «Майкл», то Джерри знал, что зов относился к Майклу, а не к Бидди, или Терренсу, или к нему самому, то теперь он узнал, что «шкипер» было имя двуногого белого господина этого нового плавучего мира.

— Право же, это не простая собака, — объявил Ван Хорн своему помощнику. — За этими карими глазами видишь настоящий человеческий мозг. Ему шесть месяцев. Всякий шестилетний мальчишка считался бы феноменом, если бы выучил в пять минут все, что выучил он. Да, черт меня побери! Собачий мозг, должно быть, похож на человеческий. Если пес действует, как человек, ему и думать приходится по-человечьи.

Глава четвертая

В главную каюту вел крутой трап, и по нему капитан после обеда снес Джерри на руках. Это было большое помещение во всю ширину «Эренджи», между лазаретом на корме и крохотной каюткой на носу. Дальше, за толстой переборкой, находился кубрик, где жила судовая команда. В крохотной каютке помещались Ван Хорн и Боркман, а главную каюту занимали шестьдесят рабочих. Они сидели на корточках, валялись на палубе и на длинных скамьях, тянувшихся по обеим сторонам каюты.

Войдя в маленькую каюту, капитан бросил в угол одеяло и дал понять Джерри, что это его постель. Джерри, плотно пообедавший и утомленный после такого суетливого дня, немедленно заснул.

Час спустя его разбудил вошедший Боркман. Джерри приветливо завилял обрубком хвоста и улыбнулся, но помощник нахмурился и сердито проворчал что-то сквозь зубы. Тогда Джерри перестал улыбаться и только спокойно за ним следил. Помощник зашел глотнуть спиртного. Он таскал выпивку из запасов Ван Хорна. Джерри этого не знал. На плантации ему часто приходилось видеть, как выпивают белые. Но в манерах Боркмана было что-то необычное. Он пил как будто исподтишка, украдкой, и Джерри смутно это сознавал. В чем тут дело, он не знал, но, почуяв что-то неладное, подозрительно присматривался.

После ухода помощника Джерри мог бы еще поспать, но неплотно прикрытая дверь с шумом распахнулась. Открыв глаза, он приготовился встретить неведомого врага. Но никого не было, и он стал следить за тараканом, ползущим по переборке. Когда Джерри встал и осторожно направился к нему, таракан удрал, скрылся в щели. С тараканами Джерри был знаком всю свою жизнь, но на «Эренджи» обитала особая порода, и, столкнувшись с ней, ему еще суждено было узнать много нового.

Наскоро обследовав маленькую каюту, он вышел в большую. Здесь повсюду валялись чернокожие. Джерри решил каждого освидетельствовать, видя в этом свой долг перед шкипером. Они хмурились и потихоньку ругались, когда он к ним принюхивался. Один осмелился пригрозить ему кулаком, но Джерри, вместо того чтобы увернуться в сторону, оскалил зубы и приготовился к прыжку. Чернокожий поспешно опустил руку и стал тихо и ласково бормотать, что, конечно, говорило о раскаянии; товарищи его захихикали, а Джерри прошел мимо. В этом не было ничего нового. От чернокожих всегда следовало ждать удара, если поблизости не было белых. И помощник и капитан находились на палубе, и Джерри, хотя и не трусил, но продолжал свои исследования более осторожно.

Но у входа в лазарет, на корме, он позабыл о всякой осторожности и ринулся навстречу новому запаху, донесшемуся до его ноздрей. В низком темном помещении находилось какое-то странное существо; его он еще ни разу не обнюхивал. На грубой циновке, разостланной на ящиках с табаком и пятидесятифунтовых жестянках с мукой, лежала в одной сорочке молоденькая чернокожая девушка.

Казалось, она притаилась или пряталась, и Джерри не замедлил это почувствовать, а ему с давних пор было известно, что дело неладно, если какой-нибудь чернокожий пытается спрятаться или улизнуть. Когда он тревожно залаял и бросился на нее, она с ужасом вскрикнула. Но она не ударила, хотя его зубы оцарапали ее голую руку. И больше она не кричала. Она съежилась на своей циновке, дрожала и не защищалась. Вцепившись зубами в ее реденькую сорочку, он тряс ее и тянул, сердито рыча и время от времени лая, чтобы призвать шкипера или помощника.

В процессе борьбы равновесие ящиков и жестянок нарушилось, и вся груда рухнула на пол. Тут Джерри залаял еще неистовее, а чернокожие, выглядывая из каюты, безжалостно хохотали.

Когда явился шкипер, Джерри завилял своим обрубленным хвостом и, прижав уши, еще сильнее задергал тонкую бумажную ткань сорочки. Он ждал похвалы за свое поведение, но когда шкипер велел отпустить девушку, он повиновался и понял, что это притаившееся, пораженное ужасом существо чем-то отличается от других таких же существ и обращаться с ним нужно иначе.

А страх девушка перенесла такой, какой мало кто может вынести. Ван Хорн называл ее своей покупкой с неприятностями и рад был бы отделаться от этой покупки, однако не уничтожая. От этого-то уничтожения он и спас ее, когда купил, дав в обмен жирную свинью.

Она была глупым, робким, больным созданием, молодые люди из ее деревни не обращали на нее никакого внимания, и когда ей исполнилось двенадцать лет, разочарованные родители предназначили ее для кухонного котла. Когда капитан Ван Хорн впервые ее встретил, она была центральной фигурой в траурной процессии на берегах реки Балебули.

Отнюдь не красавица — таков был его приговор, когда он задержал процессию. Тощая, с шелудивой кожей, покрытой засохшими струпьями — следы болезни, называемой «букуа», — она была связана по рукам и по ногам и, как свинья, свешивалась с толстого шеста, который покоился на плечах носильщиков, намеревавшихся ею пообедать. Не надеясь на пощаду, она даже не пыталась молить о помощи, но в ее вытаращенных глазах застыл безграничный ужас.

Разговорившись на универсальном английском морском жаргоне, капитан Ван Хорн узнал, что любовью своих спутников она не пользовалась, и сейчас они несли ее к реке Балебули, чтобы вбить там кол и погрузить ее по самую шею в текучую воду. Но прежде чем вбить кол, они намеревались вывихнуть ей суставы и переломать кости рук и ног. Это не было ни религиозным обрядом, ни жертвой жестоким богам джунглей. Вопрос был чисто гастрономического свойства. Живое мясо, приготовленное таким образом, делалось мягким и вкусным. А девушка, как указали ее спутники, несомненно, нуждалась в такой манипуляции. Два дня пребывания в воде, сказали они капитану, сделают свое дело. Затем они убьют ее, разложат костер и созовут друзей.

Капитан Ван Хорн торговался около получаса, доказывая, что девушка никакой цены не имеет, затем купил свинью стоимостью в пять долларов и отдал в обмен на нее. Так как он расплатился за свинью товаром, а товары были расценены вдвое выше стоимости, то в действительности девушка обошлась ему в два доллара пятьдесят центов.

И тут-то и начались затруднения капитана Ван Хорна. Он не мог отделаться от девушки. Он слишком хорошо знал туземцев Малаиты, чтобы вручить ее кому-нибудь из обитателей этого острова. Вождь племени Суу — Ишикола — предложил за нее сотню кокосовых орехов, а на берегу Малу вождь Бау давал двух цыплят. Но это последнее предложение сопровождалось усмешкой и свидетельствовало о презрении старого негодяя к худобе девушки. Капитану Ван Хорну не удалось связаться с миссионерским бригом «Западный Крест» — на нем она была бы в безопасности, — и он вынужден был держать ее в тесном помещении на «Эренджи» до того проблематического момента, когда удалось бы препроводить ее к миссионерам.

Но девушка к нему никакой благодарности не чувствовала, ибо была слишком глупа. Она, которую получили в обмен на жирную свинью, считала, что ее плачевная роль в этом мире не изменилась. Она была обречена на съедение и осталась обреченной на съедение. Изменилось только ее назначение, и теперь ее, несомненно, съест большой белый господин «Эренджи»,

когда она в достаточной мере потолстеет. Его намерения обнаружились с самого начала, когда он пробовал ее откормить. А она его перехитрила и упорно ела столько, сколько нужно, чтобы остаться в живых.

В результате девушка, проведя всю жизнь в лесах и ни разу не ступив ногой в лодку, теперь без конца носилась по поверхности океана в каком-то кошмарном тумане. На морском жаргоне, распространенном среди чернокожих тысячи островов, пассажиры «Эренджи» подтвердили ее страх. «Я тебе говорю, Мэри, — заявлял один, — скоро этот большой парень, белый господин, тебя кай-кай». А другой подхватывал: «Большой парень, белый господин, тебя кай-кай, я тебе говорю, — у него живот разгулялся».

«Кай-кай» на этом жаргоне значило «есть». Даже Джерри это знал. Слова «есть» не было в словаре, а «кай-кай» было, и означало оно больше чем «есть», так как служило и существительным и глаголом.

Но девушка никогда не отвечала на поддразнивание чернокожих. Она вообще все время молчала, не говорила даже с капитаном Ван Хорном, который и имени ее не знал.

К концу дня, после приключения с девушкой в лазарете, Джерри снова вышел на палубу. Шкипер, держа его на руках, поднялся по трапу и едва опустил на палубу, как Джерри сделал новое открытие: земля! Он не видел ее, но обонял, высоко задрав нос. Джерри расположился с наветренной стороны и стал внюхиваться в воздух, который принес весть о земле; и носом он словно читал в воздухе, как человек читает газету. Он почуял соленые запахи морского берега и влажной грязи болот, благовонный аромат тропической растительности и очень слабый, едкий запах дыма тлеющих костров.

Пассатный ветер, который пригнал «Эренджи» в воды, защищенные выступающим мысом Малаиты, теперь спадал, и судно покачивалось на невысоких волнах; слышался треск шкотов и блоков и грохот спускаемых парусов. Джерри с насмешливым презрением поглядывал на грот, прыгающий над его головой. Он понял уже пустую ветреность его угроз, но блоков грота-шкота остерегался и обходил бугель.

Капитан Ван Хорн, пользуясь затишьем, вздумал обучать команду ружейной стрельбе и приказал достать с люка ли-энфильдские ружья. Вдруг Джерри припал к палубе и неслышно пополз вперед. Но дикая собака, удалившаяся на три фута от своей норы под сундуками, не зевала. Она заметила Джерри и грозно зарычала. Рычание было злобным, как и вся ее жизнь. Мелкие животные страшились этого рычания, но оно не испугало Джерри, который настойчиво крался вперед. Когда дикая собака прыгнула в нору под ящиками, Джерри бросился за ней, но враг ускользнул.

Бросив за борт куски дерева, бутылки и пустые жестянки, капитан Ван Хорн приказал восьми матросам из своей команды стрелять. Джерри пришел в восторг от ружейной стрельбы, и к грохоту присоединился его возбужденный лай. Пустые медные гильзы летели на палубу, а чернокожие пассажиры ползали и подбирали; для них это были ценные предметы, и они немедленно засовывали их еще горячими в свои продырявленные уши. В их ушах было просверлено множество отверстий; самое маленькое могло вместить гильзу, в других торчали глиняные трубки, палочки табаку и даже коробки спичек. А были и такие отверстия, что в них держались деревянные цилиндры в три дюйма диаметром.

Помощник и капитан носили у пояса автоматические револьверы. Они стали расстреливать обойму за обоймой, к большому удивлению чернокожих, которые, затаив дыхание, следили за такой быстрой стрельбой. Судовая команда стреляла неважно, но капитан Ван Хорн, как и

каждый капитан на Соломоновых островах, знал, что туземцы — жители лесов и приморских берегов — стреляли еще хуже, и на стрельбу судовой команды можно было положиться, если ей не вздумается в минуту опасности перейти на сторону врага.

Сначала автоматический револьвер Боркмана дал осечку, и капитан Ван Хорн сделал замечание своему помощнику за то, что тот не чистит и не смазывает своего оружия. Затем Ван Хорн с издевкой спросил Боркмана, сколько стаканчиков тот сегодня пропустил и не этим ли объясняется его неудачная стрельба. Боркман объяснил, что у него был приступ лихорадки, и Ван Хорн удержал сомнения при себе, но несколько минут спустя, усевшись в тени контр-бизани и взяв на руки Джерри, поделился с ним своими соображениями.

— Прямо беда с ним, Джерри... И все из-за шнапса, — объяснял капитан Ван Хорн. — Черт побери, я из-за этого должен нести свои вахты и добрую половину его. А он говорит — лихорадка. Не верь, Джерри! Все это шнапс — самый обыкновенный ш-на-пс! А он хороший моряк, Джерри, когда трезв. Но когда напьется, становится полоумным. Голова у него идет кругом, человек ходит дурак дураком; в шторм храпит, в мертвый штиль страдает от бессонницы. Джерри, ты еще только вступаешь в мир на своих четырех бархатных лапках, так послушайся совета опытного моряка и не прикасайся к шнапсу. Верь мне, Джерри, мой мальчик, послушайся своего отца, от водки добра не увидишь.

После этого капитан Ван Хорн оставил Джерри на палубе выслеживать дикую собаку, а сам спустился в крохотную каюту и глотнул из бутылки, к которой прикладывался Боркман.

Выслеживание дикой собаки превратилось в забаву, во всяком случае, для Джерри; он никогда не злобствовал и сейчас наслаждался от души. Кроме того, эта игра преисполняла его восхитительным сознанием собственной силы, так как дикая собака все время от него удирала. Поскольку дело касалось собак, Джерри был героем на палубе «Эренджи». Ему не пришло в голову осведомиться, приятно ли его поведение дикой собаке, а, по правде сказать, это существо по его вине влачило жалкое существование. Когда Джерри находился на палубе, дикарка не смела отойти дальше чем на несколько футов от своего логовища и пребывала в страхе и трепете перед толстым щенком, который не боялся ее рычания.

Под вечер Джерри, еще разок проучив дикую собаку, пробежал на корму и нашел там шкипера. Тот сидел, поджав ноги, на палубе, прислонившись спиной к низким поручням, и рассеянно глядел на море. Джерри понюхал его голую икру — не то чтобы он хотел проверить, его ли это нога, а просто ему нравился запах, и, кроме того, он видел в этом своего рода дружеское приветствие. Но Ван Хорн не обратил на него внимания и по-прежнему глядел вдаль. Он даже не заметил щенка.

Джерри положил морду на колени шкипера и долго и пристально смотрел ему в лицо. Теперь уже шкипер его заметил и был приятно растроган, но не подал вида и продолжал сидеть неподвижно. Джерри решил испробовать новый способ. Шкипер опирался локтем о колено, рука его лениво свешивалась вниз; в полураскрытую руку Джерри по самые глаза засунул свою мягкую золотистую мордочку и застыл в такой позе. Ему не видно было, как вспыхнули у шкипера глаза; взгляд его оторвался от моря и обратился на щенка. Джерри еще минуту стоял, не шевелясь, а затем громко засопел.

Шкипер не выдержал и от души расхохотался, а Джерри в приливе любви прижал свои шелковистые уши, греясь в лучах улыбки бога. И смех шкипера заставил Джерри бешено завилять хвостом. Полураскрытая рука сомкнулась в твердом пожатии. Затем рука стала его качать из стороны в сторону с такой силой, что Джерри едва устоял на ногах.

Джерри блаженствовал. Нет, мало того, — он был в экстазе. Он знал, что в грубом пожатии не было гнева и оно не грозило опасностью; это была та же игра, какою он, бывало, забавлялся с Майклом. Иногда он играл так и с Бидди и любовно возился с ней. А в исключительных случаях сам мистер Хаггин ласково его тормошил. Для Джерри эта игра была полна глубокого смысла.

Когда Ван Хорн стал сильнее его раскачивать, Джерри сердито зарычал и рычал все громче и громче по мере того, как усиливалась встряска. Но это была игра, он только притворялся, будто хочет укусить того, кого любил слишком горячо. Он дергался, стараясь вытащить голову и ухватить складку кожи, льнувшую к его щеке.

Когда шкипер, сильно тряхнув его, освободил и отпихнул в сторону, Джерри подбежал к плечу, ворча и скаля зубы, и снова рука сомкнулась вокруг его морды и стала его раскачивать. Игра продолжалась, а возбуждение Джерри росло. Один раз шкипер замешкался, и Джерри поймал его руку, но зубов не стиснул. Зубы оставили на коже отпечаток, но это был не укус.

Игра становилась все грубее, и Джерри забылся. По-прежнему играя, он до того увлекся, что принял игру за подлинное событие. Это было сражение, борьба с рукой, которая его хватала, трясла и отпихивала. Он больше уже не притворялся и рычал по-настоящему. Когда его отшвыривали назад и он снова бросался в атаку, из груди его вырывался истерически звонкий, щенячий лай. И капитан Ван Хорн, внезапно поняв, протянул раскрытую руку, как символ мира — символ столь же древний, как человеческая рука. И в то же время он произнес только одно слово: «Джерри!». В этом слове было все: и властный упрек, и приказание, и вся настойчивость любви.

Джерри понял и сразу пришел в себя. Он сейчас же раскаялся, смирился, уши откинул назад, моля о прощении, а сердце его затрепетало в приливе любви. Нападающий пес с оскаленными клыками превратился в мягкий, шелковистый комочек; он рысцой подбежал к протянутой руке и лизнул ее; розово-красный язык блеснул, как драгоценный камень, между двумя рядами ослепительно белых зубов. А через секунду Джерри блаженствовал в объятиях шкипера и прижимался мордой к его щеке и лизал, словно хотел поцелуями заменить членораздельную речь. Это был подлинный праздник, и оба от души им наслаждались.

— Черт бы меня побрал! — забормотал капитан Ван Хорн. — Ты весь клубочек натянутых нервов с золотым сердцем, и все это обернуто снаружи в золотую шкурку. Джерри, ты золото, чистое золото, и во всем мире нет второй такой собаки. Сердце у тебя золотое, золотой мой пес. Люби меня, и я буду добр к тебе и буду тебя любить всегда, во веки веков.

И капитан Ван Хорн вдруг заморгал, глаза его затуманились, и секунду он не видел щенка, который в приливе любви весь затрепетал в его объятиях и слизнул соленую влагу с его глаз. А ведь Ван Хорн, шкипер «Эренджи», босой, в шестипенсовой рубахе и набедренной повязке, торговал «черной птицей», развозя чернокожих каннибалов, никогда не расставался со своим автоматическим револьвером, и голова его была оценена в десятках приморских деревень и лесных крепостей. Он считался самым крутым шкипером Соломоновых островов, где выживает только тот, кто жесток.

Глава пятая

Стремительная тропическая ночь поглотила «Эренджи». Судно то затихало в штиле, то накренялось и ныряло под ударами ветра и дождя, налетавшего со стороны Малаиты, острова каннибалов. Здесь прекратился юго-восточный пассат, и этим объяснялась такая переменчивость погоды. Стряпать в камбузе на открытой палубе стало сущим наказанием, а

чернокожие рабочие, ходившие нагишом, должны были уйти вниз.

Первую вахту, с восьми до двенадцати, нес помощник; а капитан Ван Хорн, не желая мокнуть под ливнем, спустился в крохотную каюту, прихватив с собой Джерри. Джерри устал от бесконечных приключений этого дня — самого беспокойного во всей его жизни; он заснул, но во сне рычал и перебирал лапами; шкипер последний раз взглянул на него, убавил свет лампы и, усмехнувшись, пробормотал:

— Это дикая собака, Джерри. Хватай ее! Кусай! Задай ей трепку!

Джерри спал так крепко, что ничего не слышал. Дождь прекратился, унеся с собой последнее дыхание ветра и превратив каюту в удушливую парную баню, и задыхающийся шкипер, в мокрой от пота рубахе и набедренной повязке, поднялся, забрал под мышку подушку и одеяло и вышел на палубу.

Джерри разбудил огромный трехдюймовый таракан, укусивший его за чувствительное местечко между пальцами, где кожа не покрыта волосами. Джерри проснулся, тряхнул пострадавшей лапой и поглядел на таракана, который не стал удирать, а с достоинством отполз в сторону. Джерри следил, как тот присоединился к другим тараканам, маршировавшим по полу. Он никогда не видел их в таком количестве. Они были огромные и ползали повсюду. Длинные вереницы ползли из щелей и спускались по переборке, чтобы присоединиться к своим товарищам, разгуливавшим по палубе каюты.

По мнению Джерри, это было совершенно недопустимо. Мистер Хаггин, Дерби и Боб не переносили тараканов, а их мнение было и его мнением. Таракан был вечным врагом тропиков. Джерри прыгнул на ближайшего, намереваясь раздавить его лапой. Но насекомое сделало то, чего он никак не ожидал от таракана. Оно поднялось в воздух и полетело, как птица. И словно по сигналу, вся масса тараканов поднялась в воздух и заполнила комнату, кружась и взмахивая крыльями.

Джерри атаковал крылатое войско; он прыгал, щелкая зубами и стараясь лапой сбросить летающую гадину. Иногда это ему удавалось, и таким путем он нескольких уничтожил. Сражение не прекращалось до тех пор, пока все тараканы, опять-таки словно по сигналу, не исчезли в многочисленных щелях, и поле битвы не осталось за ним.

Тотчас у Джерри мелькнула мысль: где шкипер? Он знал, что в каюте его не было, но все же встал на задние лапы и обследовал низкую койку. Ноздри его затрепетали, и он засопел от удовольствия, почуяв запах недавно лежавшего здесь шкипера. А обрубок хвоста замотался направо и налево.

Н о г д е ж е б ы л ш к и п е р? Эта мысль сверлила его мозг так же, как если бы это был мозг человеческий. И точно так же мысль предшествовала у него действию. Дверь была открыта настежь и укреплена крючком, и Джерри выбежал в большую каюту, где с полсотни чернокожих стонали, вздыхали и храпели во сне. Они лежали тесно друг подле друга на палубе и на длинных скамьях, и Джерри вынужден был перелезать через их голые ноги. И поблизости не было белого бога, чтобы защитить его. Он это знал, но не боялся.

Убедившись, что шкипера в каюте не было, Джерри приготовился было к опасному подъему по крутым ступенькам, напоминавшим приставленную лестницу, но тут вспомнил о лазарете. Он вбежал туда и обнюхал спящую девушку в бумажной сорочке, считавшую, что Ван Хорн ее съест, если ему удастся ее как следует откормить.

Вернувшись к трапу, Джерри поглядел наверх и стал ждать в надежде, что появится шкипер и

отнесет его на палубу. Шкипер здесь проходил; Джерри это знал по двум причинам. Только этим путем он и мог пройти, а обоняние подсказало Джерри, что он действительно здесь прошел. Его первая попытка подняться по трапу началась хорошо. Он миновал треть ступеней, но тут «Эренджи» нырнул и резко выпрямился, а Джерри поскользнулся и упал. Два-три чернокожих проснулись и следили за ним, приготовляя себе жвачку из бетеля и зеленых листьев.

Два раза Джерри соскальзывал с первых же ступенек, а чернокожие, разбуженные своими товарищами, сидели и потешались над ним. Четвертый раз Джерри ухитрился добраться до половины трапа, а оттуда тяжело грохнулся на бок. Его падение было встречено тихим смехом и ругательствами, напоминавшими чириканье огромных птиц. Джерри поднялся на ноги, нелепо ощетинился и презрительно зарычал на эти низшие двуногие существа, которые приходили, и уходили, и подчинялись воле великих белокожих двуногих богов, таких, как шкипер и мистер Хаггин.

Джерри не был обескуражен своим падением и снова полез по трапу. Временное затишье помогло ему добраться до верхних ступеней, а когда подошла большая волна, он удержался, цепляясь передними лапами, и вылез на палубу.

В средней части палубы, около люка, сидело несколько человек судовой команды и Леруми. Джерри осторожно их всех обнюхал и ощетинился, когда Леруми тихо, угрожающе зашипел. На корме, у штурвала, он нашел чернокожего рулевого, а подле него стоял на вахте помощник. Помощник заговорил с Джерри и наклонился, чтобы погладить его, но тот потянул носом и почуял близость шкипера. Он завилял хвостом, словно попросил извинения, рысцой пустился на наветренную сторону и наткнулся на шкипера. Шкипер крепко спал, лежа на спине, и только голова его торчала из-под одеяла.

Джерри прежде всего радостно его обнюхал и завилял хвостом. Но шкипер не проснулся. Моросил мелкий дождь, и Джерри, съежившись, забился в уголок между головой и плечом шкипера. Это разбудило шкипера; он ласково прошептал: «Джерри!» — а Джерри в ответ ткнулся в его щеку своим холодным влажным носом. И шкипер снова заснул. Но Джерри не спал. Он приподнял носом конец одеяла и полез через плечо, пока не очутился под одеялом. Тут шкипер проснулся и помог ему устроиться поудобнее.

Но Джерри все еще был недоволен и вертелся, пока не забился между рукой и телом шкипера, а голову положил на его плечо. И тогда только с глубоким вздохом удовлетворения заснул.

Несколько раз шум, с которым команда работала с парусами, будил шкипера, и каждый раз, вспомнив о щенке, он ласково прижимал его к себе. А Джерри во сне шевелился и старался поближе к нему прижаться.

Хоть Джерри и был замечательным щенком, но многого он понять не мог и так никогда не узнал, какое впечатление произвело на капитана мягкое, теплое прикосновение его бархатного тела. А капитан вспомнил, как много лет назад держал на руках своих спящую девочку, когда она еще была грудным младенцем. И так живо было это воспоминание, что он окончательно проснулся, и бесконечные картины прошлого, начиная с детства девочки, стали всплывать перед его глазами. Ни один белый на Соломоновых островах не знал, какую тяжесть несет в себе капитан Ван Хорн — тяжесть, не покидавшую его даже во сне. И на Соломоновы острова он приехал в тщетной надежде заглушить в себе эти воспоминания.

Память, разбуженная мягким щенком, спящим в его объятиях, стала рисовать картины прошлого. Он увидел девочку и ее мать в маленькой квартирке в Гарлеме[7]. Да, правда,

квартирка была маленькая, но трое счастливых людей превратили ее в рай.

Ван Хорн увидел светлые, как лен, волосы своей девочки; они становились все длиннее, завивались в локоны и колечки; наконец, заструились вдоль спины двумя толстыми, длинными косами; и потемнели, зазолотились, как у матери. Он был не в силах прогнать эти воспоминания и даже умышленно на них останавливался, словно пытался ими заслонить ту единственную картину прошлого, которую не хотел увидеть.

Ван Хорн вспомнил свою работу, аварийный трамвайный вагон и команду, работавшую под его началом. Он задумался над тем, что делает теперь Кленси, его правая рука. Всплыл в памяти тот долгий день, когда его подняли с постели в три часа утра, — нужно было вытащить из витрины аптекарского магазина сошедший с рельсов трамвай и снова поставить его на рельсы. Они работали целый день, подобрали с полдюжины раздавленных людей и вернулись в трамвайный парк только к девяти вечера. И сейчас же их снова вызвали на работу.

— Слава Тебе, Господи! — сказал Кленси, живший с ним по соседству. Ван Хорн вспомнил, как тот вытирал пот с безобразного лица. — Слава Тебе, Господи, дело совсем пустячное и всего в каких-нибудь десяти кварталах от нас. Как только с ним покончим, айда домой, а ребята пусть отведут вагон в ремонтную мастерскую.

— Нам придется только на секунду приподнять его, — ответил Ван Хорн.

— А в чем дело? — спросил Билли Джефферс, один из рабочих.

— Кого-то переехали и не могут вытащить, — ответил Ван Хорн, и они тронулись в путь, разместившись на подножке аварийного вагона.

Ван Хорн отчетливо вспомнил все детали долгого пути, вспомнил, как задержала их пожарная команда с рукавами и лестницей, спешившая на пожар, а он и Кленси в это время подшучивали над Джефферсом, будто тот из-за сверхурочной ночной работы не попал на свидание с несуществующими девицами.

Показался длинный ряд остановившихся трамваев, полиция, сдерживавшая напор толпы, две кареты скорой помощи, ожидавшие свою поклажу, и молодой дежурный полисмен, бледный и дрожащий, обратившийся к нему со словами:

— Ужас что такое! Смотреть страшно! Две женщины. Мы не могли их вытащить. Я старался. Одна как будто была еще жива.

Но Ван Хорн, здоровый и сильный парень, привык к своей работе; трудный день его утомил; он с удовольствием вспомнил светлую квартирку в нескольких кварталах отсюда, куда он пойдет, когда работа будет сделана. Полисмену он ответил беззаботно и уверенно, что вытащит их в один миг, и на четвереньках полез под вагон.

Он вспомнил, как вспыхнул его электрический фонарь и он глянул вперед. Мелькнули тяжелые золотистые косы; потом его палец соскользнул с кнопки фонаря, оставив его в темноте.

— Что, одна еще жива? — спросил взволнованный полисмен.

Он повторил свой вопрос, пока Ван Хорн собирался с силами, чтобы вновь надавить кнопку фонаря.

Он слышал свой собственный ответ:

— Сейчас я вам скажу…

И снова взглянул. Он смотрел добрую минуту.

— Обе умерли, — ответил он спокойно. — Кленси, передай мне домкрат номер третий, а сам подлезай с другого конца вагона.

Ван Хорн лежал на спине и глядел вверх на колеблющуюся над его головой одинокую звезду, тускло светившую сквозь рваное облачко. Старая боль сжимала его сердце, сухо было в горле, горели глаза. И он знал — что не знал ни единый человек, — почему он попал на Соломоновы острова, сделался шкипером «Эренджи», охотился за неграми, рисковал своей головой и пил виски в большем количестве, чем полагается пить человеку.

С тех пор он не глядел ни на одну женщину. И белые заметили, что он был подчеркнуто холоден с детьми, как с черными, так и с белыми.

Но, заглянув в глаза самому страшному воспоминанию, Ван Хорн вскоре смог заснуть и, погружаясь в дремоту, с наслаждением ощущал на своем плече голову Джерри. Один раз Джерри, которому снились берег у плантации Меринджа, мистер Хаггин, Бидди, Терренс и Майкл, тихонько завизжал. Ван Хорн приподнялся, ласково притянул его к себе и зловеще забормотал:

— Если только хоть один негр посмеет тронуть этого щенка!..

В полночь, когда помощник коснулся его плеча, чтобы разбудить, Ван Хорн спросонья машинально и быстро схватил правой рукой револьвер, висевший у бедра, и забормотал:

— Если только хоть один негр посмеет тронуть этого щенка…

— Пожалуй, это мыс Коноро впереди, — объяснил Боркман, когда они стояли на наветренном борту и глядели на неясные очертания земли. — Мы прошли не больше десяти миль, и ветер ненадежный.

— Там наверху какая-то дрянь собирается, если только что-нибудь из этого выйдет, — сказал Ван Хорн, когда они оба перевели взгляд на разорванные облака, затемнявшие тусклые звезды.

Едва помощник успел принести снизу свое одеяло и устроиться на палубе, как до них долетел свежий ветер с суши, и «Эренджи» понесся по гладкой поверхности воды со скоростью девяти узлов. Сначала Джерри пробовал нести вахту вместе со шкипером, но скоро свернулся клубочком и задремал, прижавшись к босой ноге шкипера.

Когда тот завернул его в одеяло и положил на палубу, он сейчас же снова заснул; но потом так же быстро проснулся, вылез из-под одеяла и стал ходить за шкипером взад и вперед по палубе. Тут шкипер задал ему новый урок, и через пять минут Джерри его усвоил. Шкипер хотел, чтобы Джерри оставался под одеялом: все в порядке, и он, шкипер, будет ходить по палубе мимо Джерри.

В четыре часа помощник принял вахту.

— Прошли тридцать миль, — сказал ему Ван Хорн. — Но теперь ветер снова переменился. Может быть шквал. Лучше сбросьте на палубу фалы и поставьте вахтенных. Они, конечно, заснут, но пусть спят у фалов и шкотов.

Джерри проснулся, когда шкипер подлез под одеяло, и, словно это был давно установленный обычай, свернулся в клубочек между его рукой и боком. Шкипер прижался щекой к его морде, а Джерри засопел, лизнул его холодным язычком и погрузился в сон.

Полчаса спустя могло бы показаться, что приближается конец мира, но Джерри вряд ли это понимал. Проснулся он от неожиданного прыжка шкипера. Одеяло полетело в одну сторону, а Джерри в другую.

Палуба «Эренджи» превратилась в отвесную стену, и Джерри полз по ней в ревущем мраке. Все снасти и ванты трещали, сопротивляясь яростному напору шквала.

— К грота-фалам! Живо! — услышал он громкий крик шкипера. Затем он различил высокую ноту грота-шкота, визжавшего на шкивах, когда Ван Хорн, потравливая его в темноте, быстро пропускал трос между ладонями, обожженными трением.

И еще много звуков — вопли судовой команды и окрики Боркмана — ударяли в барабанную перепонку Джерри в то время, как он катился вниз по крутой палубе своего нового, неустойчивого мира. Но он не налетел на поручни, где легко могли поломаться его хрупкие ребра, — теплая вода океана, хлынувшая через борт потоком бледно-фосфоресцирующего огня, смягчила его падение. Джерри запутался в бегучем такелаже и попробовал выплыть.

А плыл он не для того, чтобы спасти свою жизнь, и не страх смерти гнал его. Одна мысль была в его мозгу: г д е ш к и п е р? Он не думал о том, чтобы попытаться спасти шкипера или, быть может, помочь ему. Это была любовь, вечно влекущая к тому, кого любишь. Мать в минуту катастрофы бросается к своему ребенку; грек, умирая, вспоминает свой любимый Аргос; солдаты на поле битвы отходят в вечность с именем возлюбленной на устах; так и Джерри в момент опасности стремился к шкиперу.

Шквал прекратился так же внезапно, как и налетел. «Эренджи» резко выровнялся, а Джерри очутился на мели, в ватервейсе у борта. Он побежал по палубе к шкиперу. Тот стоял, широко расставив ноги, и, все еще держа в руке конец грота-шкота, кричал:

— Ах, черт побери! Ветер тут как тут, а дождя все нет!

Почувствовав, как Джерри, радостно засопев, ткнулся в его голую икру своим холодным носом, он, наклонившись, приласкал его. В темноте он ничего не видел, но его согревала уверенность, что Джерри, несомненно, виляет хвостом.

Большинство перетрусивших чернокожих пассажиров столпилось на палубе, и их жалобные, ноющие голоса напоминали сонное воркованье птиц, дремлющих на шесте. Появился Боркман и стал подле Ван Хорна; оба в тревожном ожидании пытались что-то разглядеть в окружающем их мраке и напряженно прислушивались к движению воздуха и моря.

— Где же дождь? — произнес с досадой Боркман. — За ветром всегда следует дождь. А сейчас его нет.

Ван Хорн по-прежнему вглядывался в темноту, прислушивался и не отвечал.

Джерри почувствовал волнение обоих мужчин и тоже насторожился. Он прижался холодным носом к ноге шкипера, лизнул его розовым язычком и ощутил соленый вкус морской воды.

Шкипер внезапно наклонился, торопливо завернул Джерри в одеяло и опустил его в углубление между двумя мешками с бататом, привязанными на палубе позади бизань-мачты.

Затем, подумав секунду, он обвязал одеяло тросом, так что Джерри очутился как бы в мешке.

Едва он успел покончить с этим делом, как контр-бизань пронеслась над головой, передние паруса, внезапно наполнившись ветром, захлопали, а грот, ослабленный Ван Хорном, повернулся и с таким треском натянул шкоты, что судно содрогнулось и сильно накренилось на левый борт. Этот второй шквал налетел с другой стороны и был значительно сильнее первого.

Джерри слышал, как шкипер крикнул помощнику:

— К грота-фалам! Отдать фалы! Я позабочусь о талях! — Затем он обратился к команде: — Батто! Ты, парень, отдай фалы контр-бизани! Живей! Ранга! Потрави шкот контр-бизани!

Тут Ван Хорна сбила с ног лавина чернокожих пассажиров, запрудивших палубу во время первого шквала. Барахтающаяся масса покатилась вместе с ним вниз по залитой водой палубе, к колючей проволоке у левого борта.

Джерри сидел в своем уголке так плотно, что его не отбросило. Но когда команды, отдаваемые шкипером, смолкли, а секунду спустя от колючей проволоки понеслись его проклятия, Джерри пронзительно залаял и стал царапаться и биться, пытаясь выбраться из-под одеяла. Со шкипером что-то случилось. Он это знал. А о себе он ни разу не подумал, очутившись в этом хаосе гибнущего мира.

Но вскоре он перестал лаять, прислушиваясь к новому шуму — оглушительному хлопанью парусов, сопровождаемому громкими криками. В этом он увидел дурное предзнаменование. Он не знал, что спускают грот, после того как шкипер перерезал фалы ножом.

Адский шум все возрастал, а Джерри отвечал на него лаем, пока не почувствовал, как чья-то рука шарит поверх одеяла. Он притих и стал принюхиваться. Нет, это был не шкипер. Джерри еще раз потянул носом и узнал Леруми — того самого чернокожего, которого Бидди опрокинула на берегу, — Леруми, совсем недавно ударившего его, Джерри, по обрубку хвоста и всего неделю назад швырнувшего камнем в Терренса.

Узел был развязан, и пальцы Леруми нащупывали его под одеялом. Джерри злобно зарычал. Это было святотатство. Он, Джерри — собака белого человека, — был табу для чернокожих. Он рано постиг закон, воспрещающий всякому негру прикасаться к собаке белого бога. И, однако, Леруми — воплощение зла — осмеливался коснуться его в тот самый момент, когда мир рушился вокруг них.

И когда пальцы тронули Джерри, он вцепился в них зубами. Свободной рукой чернокожий нанес ему такой сильный удар, что зубы Джерри скользнули по пальцам, сорвав с них кожу и мясо.

Джерри бесновался, как чертенок. Его схватили за горло, едва не придушив, и швырнули в пространство. На лету он все еще визжал от бешенства. Он упал в море и пошел ко дну, втянув в легкие добрый глоток соленой воды; затем, барахтаясь, поднялся на поверхность и поплыл. О плавании ему раньше никогда не приходилось думать. И учиться плавать ему нужно было не больше, чем учиться дышать. Ходьбе он должен был учиться, но тут нужно было плыть, и он поплыл.

Ветер выл и ревел. Пена, вздымаясь под ударами ветра, наполняла ему рот и ноздри, била по глазам, разъедая их и вызывая слезы. С морем Джерри был мало знаком, и теперь, ловя воздух, он высоко поднял морду над водой, чтобы выбраться из душивших его волн. В результате

горизонтальное положение было нарушено; перебирая лапами, он уже не мог удержаться на воде, нырнул и пошел ко дну. Снова выбрался он на поверхность, наглотавшись соленой воды. На этот раз, не рассуждая, но повинуясь инстинкту, подсказывавшему наиболее удобное положение, он вытянулся на воде и поплыл, сохраняя это положение.

Шквал утихал. Из темноты доносилось хлопанье полуспущенного грота, пронзительные крики команды, проклятия Боркмана, а над всем этим гулом голос шкипера, выкрикивавшего:

— Хватай за ликтрос, ребята! Держи туго! Тащи вниз! Выбирай грот! Живо, черт побери, пошевеливайся!

Глава шестая

Узнав голос шкипера, Джерри, барахтавшийся на зыби, сменившей шквал, залаял нетерпеливо и жалобно, и в этом лае была вся его любовь к новому господину. Но вскоре «Эренджи» уплыл от него, и все звуки замерли. И тогда одинокий, во мраке, на вздымающейся груди моря, в котором он признал еще одного из своих вечных врагов, Джерри стал жалобно визжать и скулить.

Смутной интуицией он ощутил свою слабость среди этого безжалостного, грозного моря, несущего неведомую, но жутко предугадываемую опасность — смерть. Смерти — своей смерти — он не понимал.

Однако смерть была совсем близка, ее близость он чувствовал каждой клеткой ткани, каждым нервом, и это ощущение предсказывало ему последнюю жизненную катастрофу; он ничего о ней не знал, но чуял, что здесь таится конечное и наибольшее несчастье. Не понимая, он предчувствовал это так же остро, как предчувствуют люди, которые знают и обобщают значительно глубже и шире, чем собаки.

Как человек борется в тисках кошмара, так боролся и Джерри в гневном, насыщенном солью море. И он визжал и плакал — покинутый ребенок, покинутый щенок, всего полгода обитавший в волшебном мире радости и страдания. И ему нужен, необходим был шкипер. Ибо шкипер был его богом!

Когда ветер утих и полил тропический дождь, Ван Хорн и Боркман столкнулись в темноте на борту «Эренджи», выпрямившегося после спуска грота.

— Двойной шквал, — сказал Ван Хорн, — налетел с правого и левого борта.

— Должно быть, расщепился надвое перед тем, как на нас ударить, — согласился помощник.

— А дождь приберег на вторую половину…

Ван Хорн не кончил фразы и выругался.

— Эй, парень! Что там у тебя случилось? — крикнул он рулевому.

Кеч, со слабо обтянутой контр-бизанью, попал в полосу ветра, задний парус обвис, а передние наполнились, но с другого галса. «Эренджи» стал двигаться назад, приблизительно в том направлении, откуда пришел. Иными словами, его несло туда, где Джерри барахтался в море. Так весы, на которых колебалась жизнь Джерри, склонялись в его пользу благодаря ошибке чернокожего рулевого.

Приведя «Эренджи» на новый галс, Ван Хорн велел Боркману убрать снасти, разбросанные по палубе, а сам, присев под дождем на корточки, стал сращивать снасть, которую во время шквала принужден был разрезать. Дождь затихал и не так громко барабанил по палубе, когда шкипер обратил внимание на какой-то звук, шедший с моря. Он оторвался от работы, прислушался и, узнав жалобный визг Джерри, вскочил.

— Щенок за бортом! — крикнул он Боркману. — Вынести кливер на ветер!

Он бросился на корму, расталкивая кучу чернокожих.

— Эй вы, ребята! Убрать контр-бизань!

Он взглянул в нактоуз и наспех определил по компасу направление, откуда доносился визг Джерри.

— Навались! — крикнул он рулевому, затем подскочил к штурвалу и сам стал его поворачивать, все время повторяя вслух: — Держать на норд-ост.

Вернувшись к нактоузу, он тщетно прислушивался, не раздастся ли снова визг Джерри, надеясь проверить, правильно ли он определил направление. Но ждал он недолго. Хотя благодаря его маневру «Эренджи» лег в дрейф, шкипер хорошо знал, что ветер и морское течение быстро отнесут его в сторону от барахтавшегося щенка. Приказав Боркману идти на корму и спустить вельбот, он бросился вниз за электрическим фонарем и шлюпочным компасом.

Кеч был так мал, что приходилось тащить его единственный вельбот на буксире за кормой на длинном двойном фалине, и к тому времени, когда его подтянули к корме, Ван Хорн уже вернулся. Колючая проволока его не остановила, он перекинул через нее одного за другим матросов, упавших плашмя в шлюпку, и сам последовал за ними. Последние инструкции он выкрикнул, когда отдавали фалинь.

— Боркман, зажги якорный огонь! И лежать в дрейфе! Грот не ставить! Очистить палубу! — Он взял рулевое весло и, подбодряя гребцов, крикнул: — Греби, греби, ребята!

Управляя рулем, он одновременно освещал фонарем компас, чтоб держаться курса ост-норд-ост. Затем он вспомнил, что лодочный компас на два деления уклоняется от компаса «Эренджи», и соответствующим образом изменил курс.

Время от времени он приказывал гребцам сушить весла, прислушивался и звал Джерри. Иногда он направлял вельбот по кругу, возвращался назад, шел по ветру и против ветра, чтобы осмотреть все пространство, где, по его мнению, мог находиться щенок.

— Ты, парень, слушай ушами, — сказал он первому гребцу. — Если кто из вас услышит собачьего детеныша, я дам тому пять раз по шесть футов коленкору и два раза по десять пачек табаку.

Через полчаса он уже предлагал «двенадцать раз по десять футов коленкору и десять раз по десять пачек табаку» тому, кто первый услышит «собачьего детеныша».

Джерри пришлось плохо. Плавать он не привык, соленая вода, хлеставшая в открытый рот, душила его, и он уже начал выбиваться из сил, когда случайно заметил вспышку фонаря капитана. Этот свет, однако, не был связан у него с представлением о шкипере, и он обратил на него столько же внимания, сколько и на первые звезды, загоревшиеся в небе. Ему даже не

пришло в голову подумать, звезда это или нет. Он продолжал визжать, захлебываясь в соленой воде. Но едва донесся голос шкипера, Джерри сразу обезумел. Он пытался подняться на задние лапы и опереться передними на голос шкипера, шедший из темноты, как оперся бы на его колено, будь тот подле него. Результаты оказались плачевными. Равновесие было нарушено. Джерри пошел ко дну, захлебнулся и едва выбился на поверхность.

Некоторое время вода, наполнившая легкие, мешала ему отвечать на все еще доносившийся крик шкипера. Наконец, он смог ответить и разразился радостным лаем. Шкипер пришел, он возьмет его из этого едкого, колючего моря, которое слепит ему глаза и мешает дышать. Шкипер действительно был богом, его богом, наделенным божественной властью спасать.

Вскоре он услыхал ритмический стук весел в уключинах, и его лай зазвучал так же радостно, как голос шкипера, который все время подбодрял его и подгонял гребцов.

— Все в порядке, Джерри, старина! Все в порядке… Греби, греби, ребята! Мы здесь, Джерри, здесь! Держись, старина! Крепись! Греби, греби, черти! Вот и мы, Джерри. Держись, мы тебя вытащим. Легче… легче… Греби!

И внезапно Джерри увидел, как из мрака выступили смутные очертания вельбота; свет фонаря ударил в глаза и ослепил его, и, радостно лая, Джерри почувствовал и узнал руку шкипера, схватившую его за загривок и поднявшую на воздух.

Весь промокший, он прижался к сырой от дождя груди шкипера, бешено колотя хвостом по удерживающей руке и неистово облизывая подбородок, щеки, губы и нос шкипера. А шкипер не замечал, что сам он промок и трясется в приступе возвратной лихорадки, вызванной сыростью и недавней тревогой. Он знал только, что щенок, подаренный ему накануне утром, вернулся целым и невредимым.

Когда команда склонилась к веслам, он зажал рулевое весло между рукой и боком, чтобы другой рукой поддерживать Джерри.

— Ах, ты, мой малыш! — шептал он и все снова и снова повторял эти слова: — Ах, ты, мой малыш!

А Джерри, повизгивая и скуля, отвечал ему поцелуями, как делают все дети, когда они потеряются и их находят. И он также весь дрожал, но не от холода: его чувствительные нервы были слишком потрясены.

Очутившись на борту, Ван Хорн поделился своими мыслями с помощником.

— Щенок попал за борт неспроста. И волной его не смыло. Я завернул его в одеяло и привязал тросом.

Он прошел сквозь толпу, состоявшую из команды и шестидесяти чернокожих пассажиров, высыпавших на палубу, и осветил фонарем одеяло, все еще лежавшее на мешках с бататом.

— Так и есть! Трос перерезан, а узел не тронут. Кто из негров это сделал?

Он оглядел круг черных лиц, направляя на них свет фонаря, и в глазах его вспыхнул такой обличающий гнев, что все потупились и отвели глаза.

— Эх, если бы только щенок умел говорить! — с сожалением воскликнул он. — Он бы сказал, чьих рук это дело.

Вдруг он наклонился к Джерри, который так прижался к нему, что его мокрые передние лапы покоились на голых ступнях шкипера.

— Ты его знаешь, Джерри, ты знаешь этого парня, — заговорил он быстро и возбужденно, указывая вопросительным жестом на толпу.

Джерри моментально оживился, стал прыгать и нервно тявкать.

— Похоже на то, что собака может меня привести к нему, — сообщил Ван Хорн помощнику. — Иди, Джерри, ищи его, куси, хватай! Где он, Джерри? Ищи его! Ищи!

Джерри понял только, что шкипер что-то от него хочет. Он должен найти то, чего хотел шкипер, а Джерри рад был ему служить. Он бесцельно прыгал во все стороны, и возгласы шкипера еще сильнее его возбуждали. Затем ему пришла в голову одна мысль, и мысль вполне определенная. Круг чернокожих расступился перед ним, и он по штирборту бросился на нос, туда, где лежала куча крепко привязанных ящиков. Он сунул нос в отверстие норы, где обитала дикая собака, и втянул воздух. Да, дикая собака была там. Он не только узнал ее запах, но и услышал угрожающее рычание.

Джерри вопросительно поглядел на шкипера. Быть может, шкипер хочет, чтобы он полез в нору за дикой собакой? Но шкипер расхохотался и махнул рукой, давая понять, что поиски нужно вести в другом месте и искать следует что-то иное.

Джерри прыгнул в другую сторону и стал обнюхивать те уголки, где, как ему было по опыту известно, водятся тараканы и крысы. Однако он быстро понял, что шкипер не того хочет. Он горел желанием услужить и без всякой определенной цели начал обнюхивать ноги чернокожих.

Это вызвало похвалу и поощрение шкипера, и Джерри едва не обезумел. Так вот в чем дело. Он должен опознать по ногам судовую команду и рабочих. Он рьяно принялся за работу, перебегая от одного чернокожего к другому, пока не наскочил на Леруми.

И тут он забыл, что шкипер чего-то от него хочет. Он знал только, что перед ним Леруми, который нарушил табу, наложил руку на его священную особу, Леруми, швырнувший его за борт.

Взвизгнув от бешенства, он оскалил белые зубы, весь ощетинился и прыгнул на чернокожего. Леруми пустился бегом по палубе, а Джерри преследовал его под дружный хохот негров. Несколько раз обегая по палубе, он ухитрился царапнуть зубами голые икры. Наконец, Леруми бросился на снасти грот-мачты, предоставив Джерри бесноваться на палубе.

Чернокожие, образовав полукруг, отступили на почтительное расстояние от Ван Хорна и Джерри. Ван Хорн направил свой электрический фонарь на негра, повисшего на снастях, и увидел длинные параллельные царапины на пальцах той руки, которая осмелилась пролезть к Джерри под одеяло. Он многозначительно указал на них Боркману, который стоял вне круга так, чтобы ни один чернокожий не мог зайти к нему с тыла.

Шкипер подхватил Джерри и стал его успокаивать.

— Молодец, Джерри! Припечатал его, славный пес, молодчина!

Он повернулся к Леруми, цеплявшемуся за снасти, осветил его и сурово проговорил:

— Как звать тебя, парень?

— Мой звать Леруми, — последовал нетвердый, чирикающий ответ.

— Едешь из Пендефрина?

— Мой едет из Меринджа.

Секунду капитан Ван Хорн размышлял, продолжая ласкать щенка. Ведь Леруми был одним из возвращающихся рабочих. Через день, самое большее через два дня он высадит его на берег и отделается от него.

— Слушай меня, — сказал он. — Я на тебя сердит. Я здорово на тебя сердит. Так сердит, что и сказать не могу. Какого черта ты бросил в воду собачку, которая принадлежит мне?

Леруми не в силах был ответить. Он беспомощно закатил глаза и приготовился к хорошей порке, ибо по горькому опыту знал обычаи белых господ.

Капитан Ван Хорн повторил свой вопрос, а чернокожий снова беспомощно закатил глаза.

— За пару пачек табаку я выколочу из тебя семь склянок! — ругался шкипер. — А теперь слушай, что тебе говорят. Если ты посмеешь хоть разок поглядеть на мою собаку, я из тебя семь склянок выколочу. Понял?

— Мой понял, — жалобно протянул Леруми, и инцидент был исчерпан.

Чернокожие пассажиры отправились спать в каюту. Боркман и матросы поставили грот и привели «Эренджи» на прежний курс. А шкипер принес снизу сухое одеяло и улегся спать; Джерри прижался к нему и голову положил на его плечо.

Глава седьмая

В семь часов утра, когда шкипер вытащил его из-под одеяла и поднялся, Джерри отпраздновал новый день тем, что загнал назад в нору дикую собаку и заставил Леруми отскочить шагов на шесть в сторону и уступить ему палубу под сдержанное хихиканье чернокожих.

Завтракал он вместе со шкипером, но тот ничего не ел, запил чашкой кофе пятьдесят гран хинина, завернутого в папиросную бумагу, и пожаловался помощнику, что ему придется залезть под одеяло и хорошенько пропотеть, пока его не отпустит приступ лихорадки. Палящее солнце сушило палубу, над которой поднимались завитки пара, а у Ван Хорна начался озноб и зубы стучали, но все же он ласково прижимал к себе Джерри и называл его принцем, и королем, и сыном королевским.

Дело в том, что Ван Хорну не раз приходилось слышать за стаканом виски с содовой родословную Джерри. Ее рассказывал Том Хаггин в те часы, когда удушливый зной мешал уснуть. А родословная была поистине царственной, насколько это возможно для ирландского терьера, род которого шел от ирландского волкодава и формировался и совершенствовался под руководством человека в течение двух человеческих поколений.

Ван Хорн помнил, что Терренс Великолепный происходил от американского Мильтона Дролин, рожденного королевой графства Энтрим — Бредой Медлер, чей род тянулся едва ли не с мифических времен. А род Бидди можно было проследить до Эрин, которая числилась в ряду предков Бреды Медлер.

В объятиях возлюбленного бога Джерри познал экстаз любви, хотя и не понимал таких слов, как «принц» и «королевский сын»; он знал только, что эти слова говорят о любви, тогда как шипение Леруми несет в себе ненависть. Но одно Джерри знал, совсем о том не думая, а именно, что шкипера он полюбил за эти несколько часов больше, чем любил Дерби и Боба; а Дерби и Боб были, за исключением мистера Хаггина, единственными белыми богами, каких он когда-либо знал. Этого он не сознавал. Он просто любил и действовал согласно побуждениям своего сердца, мозга или любого другого органа, где родится этот таинственный, восхитительный и ненасытный голод, именуемый «любовью».

Шкипер направился вниз. Он шел, не обращая ни малейшего внимания на Джерри, который тихонько трусил за ним по пятам до самой рубки. Шкипер не замечал Джерри, ибо от лихорадки у него ныло все тело, ломило кости, голова, казалось, чудовищно распухла, все кружилось перед его помутившимися глазами, а походка стала шаткой и слабой, как у пьяницы или дряхлого старца. И Джерри чуял, что со шкипером творится что-то неладное.

У шкипера уже начинался бред, сменявшийся секундами просветления, когда он сознавал, что ему нужно сойти вниз и забраться под одеяло. Он стал спускаться по трапу, а Джерри, сдерживая волнение, молчаливо следил за ним, надеясь, что шкипер, сойдя вниз, поднимет руки и спустит его на пол. Но шкиперу было так скверно, что он позабыл о существовании Джерри. Шатаясь и широко расставив руки, чтобы удержаться в равновесии, он потащился на нос, к своей койке в крохотной каюте.

Джерри был действительно благородного происхождения. Он хотел залаять, попросить, чтобы его спустили вниз, но не сделал этого. Он сдержался, сам не зная почему и только смутно сознавая, что к шкиперу следует относиться так, как относятся к богу, и приставать к нему сейчас не время. Его томило желание залаять, но он не издал ни одного звука и только тосковал у комингса рубки, прислушиваясь к замиравшим шагам шкипера.

Однако по прошествии четверти часа Джерри готов был нарушить молчание. С уходом шкипера, которого, очевидно, постигла какая-то беда, свет погас для Джерри. Его уже не привлекала возможность загнать в нору дикую собаку. Он не обратил внимания на прошедшего мимо Леруми, хотя и мог бы напасть на него и гнать по палубе. «Эренджи» скользил по затихшему морю, но даже хлопающий и раздувающийся над головой грот не удостоился ни единого презрительного взгляда Джерри.

И как раз в ту минуту, когда Джерри почувствовал настоятельную необходимость присесть, повернуть нос к зениту и в звуках излить раздирающую сердце грусть, его осенила одна мысль. Нельзя объяснить, каким путем дошел он до нее. Так же точно не объяснить, почему человек сегодня за завтраком заказывает зеленый горошек и отказывается от стручковых бобов, тогда как накануне отдавал предпочтение бобам и отказывался от горошка. Так же точно судья, выносящий приговор осужденному преступнику и назначающий ему восемь лет тюремного заключения, а не пять или не десять лет, не сможет объяснить, почему он глубоко убежден в том, что именно восемь лет являются наказанием справедливым и соответствующим преступлению. А если люди — эти полубожественные существа — не могут проникнуть в тайну зарождения идей и побуждений, воспринимаемых ими как идеи, — то тем более нельзя ждать, чтобы собака познала, откуда пришла мысль, заставившая ее действовать с определенной целью.

Так было и с Джерри. Мысль появилась в каком-то его мыслительном центре и повела к действию. Он повиновался ей, как повинуется марионетка шнурку, и немедленно побежал на корму разыскать помощника.

Ему нужно было обратиться за помощью к Боркману. Боркман тоже был двуногим белым богом. Боркману ничего не стоило снести его вниз по крутому трапу, а этот трап был для Джерри, без посторонней помощи, табу, и нарушение его грозило катастрофой. Но в Боркмане было мало любви, а следовательно и понимания. Кроме того, Боркман был занят. Он следил за правильностью курса «Эренджи», ставя по ветру паруса и отдавая распоряжение рулевому, наблюдая за судовой командой, мывшей палубу и чистившей медные части, а помимо этого, то и дело прикладывался к украденной у капитана бутылке с виски, которую прятал в углубление между двумя мешками с бататом, привязанными на палубе позади бизань-мачты.

Боркман, только что крепко выругавший за промах чернокожего рулевого и пообещавший выколотить из него семь склянок, как раз собирался еще разок глотнуть из бутылки, когда перед ним появился Джерри и преградил путь. Однако Джерри загородил дорогу не так, как если бы перед ним очутился хотя бы Леруми. Он не оскалил зубов и не ощетинился. Наоборот, Джерри весь превратился в мольбу и призыв; хотя он лишен был дара речи, но и без слов умел говорить красноречиво: он извивался всем телом, вилял хвостом, прижал назад уши, а глазами мог бы передать свою мысль всякому чуткому и понимающему человеку.

Но Боркман видел перед собою только четвероногое существо животного мира и по свойственной ему животной заносчивости считал его ниже себя. Нежный щенок, горящий желанием передать ему свою просьбу, был скрыт от него, словно туманной пеленой. Он видел только четвероногое животное, которое следовало отбросить в сторону, а затем торжественно прошествовать к бутылке, разжигающей мозг, дарующей грезы о том, что он принц, а не простолюдин, господин, а не раб жизни.

И Джерри был грубо отброшен в сторону босой ногой, такой же бесчувственной и жестокой, как бездушное море, ударяющее о прибрежные скалы. Джерри едва не растянулся на скользкой палубе, затем восстановил равновесие, застыл на месте и молча поглядел на белого бога, который так дерзко с ним обошелся. Этот низкий и несправедливый поступок не вызвал у Джерри мстительного рычания, которым, несомненно, был бы награжден Леруми или любой другой из чернокожих. И в голове его не мелькнуло ни одной мысли о мщении. Это был не Леруми. То был высший бог, двуногий, белокожий, как шкипер, как мистер Хаггин, как пара других высших богов, которых он знал. Он ощутил только обиду, как ребенок, получивший шлепок от легкомысленной или нелюбящей матери.

С обидой была связана и злоба. Джерри прекрасно знал, что бывают два вида грубости. Бывает грубость ласковая, любовная, та грубость, с какой шкипер хватал его за морду, раскачивал до того, что зубы начинали стучать, и, отбрасывая в сторону, сейчас же приглашал вернуться и подвергнуться встряске. Такая грубость преисполняла Джерри блаженством. В ней была близость к возлюбленному богу, который пожелал таким путем выразить любовь.

Но грубость Боркмана была иного рода. В ней не чувствовалось ни привязанности, ни любви. Джерри это не вполне понимал, но разницу ощущал, и несправедливый поступок вызвал в нем злобу, не претворившуюся, однако, в действие. И теперь, восстановив равновесие, он тщетно пытался понять происшедшее и серьезно глядел на помощника, который, повернув бутылку дном кверху, глотал виски, булькавшее у него в горле. И он продолжал так же серьезно глядеть на помощника, когда тот прошел на корму и пригрозил чернокожему рулевому выколотить из него «Песнь песней»[8] и весь Ветхий завет, а чернокожий смиренно и умоляюще скалил зубы — совсем так, как это делал Джерри несколько минут назад.

Покинув этого бога, как бога нелюбимого и непонятного, Джерри грустно пустился назад, к рубке, и, томясь, свесил голову, через комингс, туда, где скрылся шкипер. Он мучительно ощущал жгучее желание быть вместе со шкипером, который чувствовал себя скверно и попал в

беду. Ему нужен был шкипер. Ему хотелось быть с ним, ибо он его любил; кроме того, он мог ему помочь, но эту вторую мысль Джерри сознавал смутно. Он был беспомощен, молод и неопытен; стремясь к шкиперу, он свесил голову внутрь рубки и жалобно визжал и скулил, и так непосредственна была его скорбь, что он не обращал внимания на негров, столпившихся на палубе и внизу и хохотавших над ним.

От комингса до каюты было семь футов. Всего несколько часов назад Джерри вскарабкался по крутому трапу, но спуститься вниз было невозможно, и он это знал. И все же дело кончилось тем, что он рискнул спуститься. Стремясь во что бы то ни стало найти шкипера, он в то же время отчетливо сознавал всю невозможность сползти по трапу головой вниз, не имея опоры для лап и когтей, и не пытался это проделать. Движимый любовью, он геройски прыгнул вниз. Он знал, что этим поступком нарушает табу, так же точно, как если бы прыгнул в лагуне Мериндж, где плавают страшные крокодилы. Великая любовь никогда не отступает перед жертвой и самоотречением. И только во имя любви мог совершить Джерри этот прыжок.

Он ударился головой и боком. От удара в бок у него перехватило дыхание, удар в голову оглушил его. Но, даже лежа в беспамятстве на борту и подергиваясь всем телом, он судорожно перебирал лапами, словно бежал навстречу шкиперу. Чернокожие глядели на него и хохотали, а когда он перестал дрожать и перебирать лапами, они продолжали смеяться. У этих дикарей, проведших всю жизнь в глуши и ничего не видевших, и понятие о смешном было дико и нелепо. При виде оглушенного, а может быть, и мертвого щенка они едва не лопались от смеха. Лишь по прошествии четырех минут Джерри пришел в себя и поднялся с помутившимися глазами. Широко расставив лапы, он приспособлялся к качке «Эренджи». Но с первым же проблеском сознания всплыла мысль, что ему нужно добраться до шкипера. Чернокожие?.. Охваченный беспокойством и любовью, он не считался с ними. Он не обращал внимания на хихикающих, ухмыляющихся, поддразнивающих чернокожих, которые, не будь он под страшной эгидой великого белого господина, с наслаждением убили бы его и съели, тем более, что щенок, пройдя хорошую тренировку, обещал стать первоклассным охотником за неграми. Не поворачивая головы, с остановившимися глазами, гордо подчеркивая свое пренебрежение к их существованию, Джерри побежал на нос в каюту, где шкипер метался в бреду на своей койке.

Джерри никогда не болел малярией и не понимал, в чем дело. Но он был сильно встревожен тем, что шкипер попал в беду. Шкипер не узнал его, даже когда он вскочил на койку, перепрыгнул через тяжело вздымавшуюся грудь шкипера и слизнул с его лица едкий лихорадочный пот. А дико метавшийся шкипер отшвырнул его в сторону, и Джерри больно ударился о койку.

В этой грубости не было ничего любовного. Не походила она и на грубость Боркмана, отпихнувшего его ногой. Она объяснялась бедой, которая приключилась со шкипером. Джерри не обсуждал этого вывода, но действовал так, словно дошел до него путем умозаключений. Точнее всего это можно выразить следующим образом: в этой грубости Джерри почуял новый оттенок.

Он сел как раз на таком расстоянии, чтобы его не задевала беспокойно метавшаяся рука, и томился желанием придвинуться ближе и еще разок лизнуть лицо бога, который его не узнавал. Но Джерри знал, что тот его крепко любит. И он разделял беду шкипера и страдал вместе с ним.

— Эй, Кленси, — болтал шкипер, — славная работа выдалась у нас сегодня, и лучших ребят для этого дела не найти... Кленси, дай домкрат номер третий. Подлезай с переднего конца. — Затем кошмарные видения исчезли. — Тише, милочка, зачем ты говоришь папе, как нужно

расчесывать твои золотистые волосы? Словно я не расчесывал их эти семь лет… и лучше, чем твоя мама, милочка, лучше, чем твоя мама. Мне выдали золотую медаль за то, что я расчесываю золотые волосы моей красавицы дочки… Судно сбилось с курса! Руль на ветер! Поставить кливер и фор-марсель! Полный ход!.. А оно несется по волнам, как волшебный корабль!.. Моя игра! Блеки, если ты останешься в игре, — увидишь хорошие карты, уж можешь мне поверить!

Из уст шкипера вырывались обрывки никому не поведанных воспоминаний, грудь его вздымалась, руки разметались; а Джерри, прижавшись к койке, грустил, сознавая всю невозможность помочь. Во всем происходящем он ничего не понимал. Об игре в покер он знал не больше, чем о курсе судна, о разбитых трамвайных вагонах в Нью-Йорке или о расчесывании длинных золотистых волос любимой дочки в маленькой квартирке в Гарлеме.

— Обе умерли, — выговорил в бреду шкипер. Он произнес это спокойно, словно сообщал, который час; потом застонал: — Ох, какие у нее были красивые, золотые косы!

Некоторое время он лежал неподвижно и надрывающе рыдал. Этим воспользовался Джерри. Он подлез под руку, прижался к шкиперу, голову положил ему на плечо, слегка касаясь холодным носом щеки шкипера, и почувствовал, как рука обвилась вокруг него и теснее его прижала. Кисть руки ласково его погладила, а прикосновение его бархатного тела изменило болезненные грезы шкипера, который начал бормотать холодным, зловещим тоном:

— Если какой-нибудь негр посмеет тронуть этого щенка…

Глава восьмая

Когда спустя полчаса Ван Хорн основательно пропотел, это означало конец приступа. Он почувствовал огромное физическое облегчение, и последние остатки бреда выветрились у него из головы. Однако он страшно ослабел и после того, как сбросил с себя одеяла и узнал Джерри, погрузился в естественный и восстанавливающий силы сон.

Проснулся он лишь через два часа и поднялся, чтобы идти на палубу. Взобравшись до половины трапа, он опустил Джерри на палубу, а сам вернулся вниз, в каюту, за забытой бутылкой хинина. Но он не сразу вернулся к Джерри. Его внимание привлек длинный ящик под койкой Боркмана. Деревянная задвижка, придерживавшая его, отскочила, ящик выдвинулся, готовый слететь на палубу. Положение было серьезно. Ван Хорн нимало не сомневался, что, упади этот ящик на палубу во время вчерашнего шторма, пропал бы и «Эренджи» и все восемьдесят человек, находившиеся на борту. Ящик был наполнен всякой всячиной: динамитными патронами, коробками со взрывчатыми капсюлями, дистанционными трубками, свинцовыми грузилами, инструментами и многочисленными коробками с ружейными, револьверными и пистолетными патронами. Ван Хорн рассортировал и в порядке уложил все это, взял винт подлиннее и с помощью отвертки приделал задвижку.

А Джерри тем временем наткнулся на новое приключение. Поджидая шкипера, он случайно заметил дикую собаку, дерзко растянувшуюся на палубе, шагах в двенадцати от своей норы между ящиками. Джерри немедленно припал к палубе и стал подкрадываться. Успех, казалось, был обеспечен, так как дикая собака лежала с закрытыми глазами и, по-видимому, спала.

И в тот самый момент помощник, шествовавший с носа в том направлении, где между мешками с бататом была припрятана бутылка, крикнул заметно осипшим голосом: «Джерри!» Джерри прижал уши, по форме напоминавшие большие лесные орехи, вежливо завилял хвостом, но изъявил намерение продолжать выслеживание врага. Услыхав голос помощника, дикая собака

открыла глаза, метнула взгляд в сторону Джерри и прыгнула в свою нору; очутившись там, она повернулась, высунула морду, оскалила зубы и торжествующе зарычала.

Лишившись своей добычи по неосмотрительности помощника, Джерри побежал назад, к рубке, чтобы дожидаться шкипера. Но Боркман, у которого от частого прикладывания к бутылке голова затуманилась, цеплялся за свою мысль, как это свойственно пьяным. Еще дважды он повелительно окликнул Джерри, и оба раза Джерри, любезно прижав уши и вильнув хвостом, отказывался повиноваться. Затем щенок свесил голову вниз в каюту и стал ждать шкипера.

Боркман вспомнил свое первоначальное намерение и продолжал путь к бутылке, которую не замедлил повернуть дном кверху. Но и вторая мысль, какой пустячной она ни была, удержалась; некоторое время он стоял, пошатываясь и что-то бормоча, затем сделал вид, будто изучает свежий ветер, надувший паруса «Эренджи» и накренивший палубу, попытался изобразить перед рулевым орлиную зоркость в своих мутных от пьянства глазах и, наконец, покачиваясь, пошел на середину судна к Джерри.

Джерри обнаружил присутствие Боркмана, когда тот больно и жестоко щипнул его за бок. Джерри тявкнул от боли и обернулся. Тогда помощник принялся за ту же игру, какую вел шкипер: он стиснул рукой морду Джерри так сильно, что у того застучали зубы, и задал ему встряску, ничем не похожую на любовную встряску шкипера. Джерри еще удерживался на ногах, зубы болезненно лязгали, а затем его грубейшим образом отшвырнули в сторону по скользкому скату палубы.

Но Джерри с равным и высшим был воплощенной вежливостью. В конце концов даже с низшими, как, например, с дикой собакой, он никогда сознательно не злоупотреблял выпадавшими на его долю преимуществами. А с высшим двуногим белым богом, как Боркман, требовался большой контроль, сдержанность и обуздание примитивных инстинктов. Он не хотел играть с помощником в игру, которую с таким экстазом вел со шкипером, так как помощника он не любил, хотя тот и был двуногим белым богом.

И все же Джерри оставался в высшей степени любезным. Он вернулся, слабо имитируя ту увлекательную, возбуждающую атаку, которой научил его шкипер. В действительности он притворялся, разыгрывая роль, стараясь делать то, чего ему совсем не хотелось. Он делал вид, будто играет, и для вида рычал, но симуляция выходила мало правдоподобной.

Он вилял хвостом добродушно и по-дружески, рычал грозно и дружелюбно, но помощник с пьяной прозорливостью уловил разницу и смутно почуял притворство, обман. Джерри плутовал — из вежливости. Боркман спьяна различил плутовство, но не оценил скрытого за ним доброго чувства. И это вывело его из себя. Забыв, что и сам он животное, он видел перед собой не больше, чем животное, с которым пытался дружески играть, как играл шкипер.

Война стала неизбежной, но открыл ее не Джерри, а Боркман. Боркман ощущал непреодолимую потребность зверя утвердить свое господство над другим зверем — этим четвероногим щенком. Джерри почувствовал, как рука еще сильнее сдавила его челюсти и еще грубее отшвырнула вниз по палубе. А палуба вследствие сильного крена превратилась в крутой и скользкий холм.

Джерри вернулся, неистово цепляясь когтями за палубу, дававшую плохую опору лапам; он вернулся, уже не симулируя гнев, но побуждаемый первым проблеском подлинной ярости. Этого он не сознавал. Вернее всего, он был под впечатлением, будто играет в ту же игру, какую вел со шкипером. Короче, он стал заинтересовываться игрой, хотя совсем иначе, чем играл со шкипером.

На этот раз он быстро оскалил зубы, намереваясь глубже впиться в хватающую его руку, но промахнулся; он снова был схвачен и отброшен, отлетел дальше и ударился больнее, чем раньше. Отползая назад, он стал озлобляться, хотя и не сознавал этого. Но помощник, как человек, хотя и был пьян, почувствовал перемену в поведении Джерри раньше, чем сам Джерри ее почувствовал. И Боркман не только ее почувствовал, это ощущение отшвырнуло его назад, в первобытные времена, и побудило драться, чтобы восторжествовать над этим щенком… Так, быть может, дрался первобытный человек с первым выводком, похищенным из волчьего логовища в скалах.

Действительно, род Джерри восходил к этим далеким временам. Его далекие предки были ирландскими волкодавами, а задолго до этого предками волкодавов были волки. Рычание Джерри звучало теперь по-иному. Незабываемое и неизгладимое прошлое стянуло его голосовые связки. Его зубы сверкали. Джерри был весь охвачен страстью, и страсть побуждала его глубоко вонзить зубы в руку человека. Он отпрыгнул назад, в темную жестокую дикость первобытного мира, отпрыгнул почти с той же быстротой, как это сделал Боркман. И на этот раз его зубы оставили метку, содрав нежную, чувствительную кожу и мясо на правой руке Боркмана. Зубы Джерри кололи, как иголки, и Боркман, ухватив морду Джерри, отбросил его в сторону с такой силой, что тот едва не ударился о низкие поручни «Эренджи».

Ван Хорн, покончив с уборкой и починкой ящика с взрывчатыми веществами, поднялся по трапу, увидел битву, остановился и молча смотрел.

Но смотрел он в прошлое, за миллионы лет, и видел два безумных существа, которые сорвали с себя узду многих поколений и возвратились в мрак зарождающейся жизни. В мозгу Боркмана пробудились те же далекие унаследованные инстинкты, что и в мозгу Джерри. Оба вернулись назад, к прошлому. Все усилия и достижения десяти тысяч поколений сошли на нет, и битва шла не между Джерри и помощником, а между собакой-волком и дикарем. Ни один из них не видел Ван Хорна, который, не вылезая из люка, стоял так, что глаза его приходились как раз на уровне порога.

Для Джерри Боркман уже не был больше богом, так же точно, как и сам он, Джерри, не был гладкошерстным ирландским терьером. Оба забыли миллион лет, отпечатавшийся в их наследственности слабее, чем те века, какие протекли до этого миллиона. Джерри опьянения не знал, но несправедливость понимал хорошо и теперь был охвачен яростным негодованием. Боркман, готовясь отразить следующее нападение, промахнулся, и Джерри успел укусить его за обе руки раньше, чем был отброшен в сторону.

И всякий раз Джерри возвращался. Как истинный обитатель джунглей, он истерическим лаем выражал свое негодование. Но он не скулил, ни разу не попятился, не уклонился от удара. Он бросался напролом, стараясь укусить, не избегая удара, и встретить удар зубами. Наконец он с такой силой был отброшен назад, что больно ударился боком о поручни, и Ван Хорн крикнул:

— Прекрати, Боркман! Оставь щенка в покое!

Помощник, не подозревавший, что за ним наблюдают, вздрогнул от удивления и обернулся. Резкий, повелительный голос Ван Хорна пронесся через миллион лет. Боркман попытался изобразить на искаженном от гнева лице нелепую, извиняющуюся улыбку и едва успел пробормотать: «Ведь мы только играли…» — как Джерри вернулся, подпрыгнул и вонзил зубы в руку врага.

Боркман снова был отброшен назад за миллион лет, попробовал лягнуть ногой, а Джерри ободрал ему лодыжку. От боли и бешенства помощник забормотал что-то несвязное и,

наклонившись, с размаху ударил Джерри по голове и по шее. Как раз в этот момент Джерри подпрыгнул и, получив удар на лету, перекувыркнулся в воздухе и упал на спину. Едва поднявшись на ноги, он хотел возобновить нападение, но шкипер его окликнул:

— Джерри! Брось! Иди сюда!

Ему стоило большого труда повиноваться; шерсть на шее ощетинилась, и он оскалился, проходя мимо помощника. И в первый раз он заскулил; это было вызвано не страхом и не болью, а оскорблением и желанием продолжать битву, но это желание он пытался обуздать по приказанию шкипера.

Шкипер вылез на палубу, взял его на руки и стал ласкать, успокаивать, отчитывая в то же время помощника:

— Стыдись, Боркман! Пристрелить тебя следует или башку за это снести! Щенок, маленький щенок, только что отнятый от груди! Я бы за два цента задал тебе трепку. И придет же в голову! Щенок, маленький щеночек-сосунок! Хорошо, что хоть руки разодрал. Поделом. Надеюсь, получишь заражение крови. А затем — ты пьян. Ступай вниз и носа не показывай на палубу, пока не отоспишься. Понял?

А Джерри, совершив далекое путешествие в веках, пытался восторжествовать над тинистой бездной доисторических времен, опираясь на любовь, которая лишь значительно позднее вошла в его жизнь и стала ее основой. Древний гнев утихал, в голосе слышались лишь слабые отзвуки его — отдаленные раскаты пронесшейся грозы, — и Джерри, охваченный теплой волной чувства, познал величие и справедливость своего шкипера. Шкипер поистине был богом: он действовал справедливо, он защищал, он властвовал над тем, другим — меньшим богом, который бежал от его гнева.

Глава девятая

Джерри и шкипер вместе несли долгую послеполуденную вахту, и последний то и дело усмехался и восклицал:

«Черт бы меня побрал, Джерри! Уж можешь мне поверить, ты славный пес и знатный боец!» Или: «Ты молодчина! У тебя настоящее львиное сердце! Бьюсь об заклад, что еще не было такого льва, который сумел бы отнять у тебя добычу».

И Джерри, не понимая ни единого слова, за исключением своего собственного имени, знал тем не менее, что звуки, издаваемые шкипером, несут похвалу и согреты любовью. А когда шкипер наклонялся, трепал его за уши, протягивал пальцы для поцелуя или брал его на руки, Джерри преисполнялся блаженством. Ибо разве может выпасть на долю какого-либо существа больший экстаз, чем быть любимым богом? Именно такой экстаз переживал Джерри. Шкипер был богом осязаемым, реальным богом трех измерений, который расхаживал босиком, в набедренной повязке, управлял своим миром и любил его, Джерри, нашептывал ему что-то ласкающее и прижимал к себе.

В четыре часа пополудни Ван Хорн, определив на глаз положение солнца и измерив скорость «Эренджи», приближавшегося к Суу, спустился вниз и грубо растолкал помощника. До их возвращения Джерри один оставался на палубе. И только благодаря тому, что белые боги пребывали внизу и в любой момент могли появиться, Джерри удерживал за собой палубу; по мере приближения к Малаите у возвращавшихся негров поднималось настроение, и, предвкушая независимость, Леруми бросал на Джерри мстительные взгляды и, глотая слюну,

оценивал его с точки зрения съедобности.

Подгоняемый свежим бризом, «Эренджи» быстро несся к земле. Джерри глядел сквозь колючую проволоку, втягивая носом воздух, шкипер стоял подле него, отдавая распоряжения помощнику и рулевому. На палубе развязали груду сундучков, и чернокожие то и дело открывали и закрывали их. Особое удовольствие доставлял им звон колокольчика, которым был снабжен каждый сундучок; этот колокольчик звонил всякий раз, когда поднимали крышку. Они, как дети, наслаждались игрушечным механизмом и, то и дело подходя к своему собственному сундучку, открывали его и прислушивались к звону.

В Суу высаживались пятнадцать негров. Дико жестикулируя и крича, они узнавали и указывали на мельчайшие детали берега — того единственного клочка земли, какой они знали раньше, три года назад, пока отцы, дяди и вожди не продали их в рабство.

Узкая полоса воды, шириной едва в сто ярдов, служила входом в длинную и узкую бухту. Густая тропическая растительность покрывала берег. Нигде не видно было ни жилья, ни следов человека. Но Ван Хорн, пристально вглядывавшийся в густые джунгли, прекрасно знал, что десятки, а быть может, и сотни пар человеческих глаз смотрят на него.

— Принюхивайся к ним, Джерри, принюхивайся, — подбадривал он.

А у Джерри шерсть взъерошилась, и он залаял на мангиферовую стену, так как действительно распознал своим острым обонянием запах притаившихся негров.

— Будь у меня такой нюх, как у него, — сказал капитан помощнику, — я бы не рисковал потерять голову.

Но Боркман ничего не отвечал и угрюмо делал свое дело.

Ветра почти не было. «Эренджи» медленно вошел в бухту и отдал якорь на глубине ста восьмидесяти футов. Дно гавани так круто опускалось начиная от самого берега, что даже на такой большой глубине корма «Эренджи» находилась на расстоянии какой-нибудь сотни футов от мангифер.

Ван Хорн по-прежнему тревожно всматривался в берег, поросший лесом. Суу пользовался дурной славой. Пятнадцать лет назад шхуна «Фэйр-Хатавей», вербовавшая рабочих для плантаций Квинсленда[9], была захвачена туземцами, а вся команда перебита; с тех пор ни одно судно, за исключением «Эренджи», не осмеливалось подходить к Суу. И большинство белых осуждало безрассудную отвагу Ван Хорна.

Высоко в горах, вздымающихся на тысячи футов к облакам, гонимый пассатным ветром, клубился дым сигнальных костров, возвещавший о прибытии судна. И вдали и вблизи было известно о появлении «Эренджи»; и все же из джунглей, так близко подступавших к судну, доносились лишь пронзительные крики попугаев да болтовня какаду.

К борту подтянули вельбот, снаряженный шестью матросами, и спустили в него пятнадцать парней из Суу с их сундучками. Вдоль скамей для гребцов лежали под рукой пять ли-энфильдских ружей. На палубе «Эренджи» один из матросов судовой команды с ружьем в руке охранял оставшееся на борту оружие. Боркман принес снизу свое собственное ружье и держал наготове. Ружье Ван Хорна лежало подле него в шлюпке, а сам он стоял близ Тамби, управлявшего длинным кормовым веслом. Джерри тихонько скулил, перевесившись через поручни, пока шкипер не сжалился и не спустил его за собой в вельбот.

Опасным местом была шлюпка, ибо казалось маловероятным, чтобы именно в этот момент взбунтовались рабочие, оставшиеся на борту «Эренджи». Они были родом из Сомо, Ноола, Ланга-Ланга и далекого Малу и сами трепетали от страха: лишись они защиты своих белых господ, им грозило быть съеденными жителями Суу; того же могли опасаться со стороны жителей Сомо, Ланга-Ланга и Ноола и чернокожие из Суу. Опасность, грозившая вельботу, усиливалась тем, что не было второй, защитной шлюпки. Более крупные суда, вербовавшие рабочих, неизменно посылали на берег две шлюпки. Пока одна подходила к берегу, вторая останавливалась на некотором расстоянии, чтобы в случае тревоги прикрыть отступление. «Эренджи» был слишком мал и даже одну шлюпку не мог нести на палубе, а тащить на буксире две было неудобно; в результате Ван Хорн, самый отважный из всех вербовщиков, был лишен этой существенной защиты.

Тамби, повинуясь тихой команде Ван Хорна, вел вельбот вдоль берега. Там, где исчезали мангиферы и показалась сбегавшая к воде тропа, Ван Хорн приказал гребцам табанить, чтобы остановиться... В этом месте высокие пальмы и величественные ветвистые деревья вздымались над джунглями, а тропинка походила на тоннель, пробитый в плотной зеленой стене тропической растительности.

Ван Хорн, ища на берегу каких-либо признаков жизни, закурил сигару и, приложив руку к поясу своей набедренной повязки, убедился, что динамитный патрон находится на своем месте, между поясом и голым телом. Сигара была зажжена для того, чтобы в случае необходимости было чем поджечь динамитную трубку. Один конец трубки был расщеплен и приспособлен для головки спички, а трубка была так мала, что взрывалась через три секунды после прикосновения к ней горящей сигары. Таким образом, если бы понадобилось пустить в ход динамит, Ван Хорн должен был действовать быстро и хладнокровно. В течение трех секунд нужно было бросить патрон в намеченную цель. Однако он не рассчитывал прибегать к динамиту и держал его наготове только из предосторожности.

Прошло пять минут, а на берегу царило все то же молчание. Джерри понюхал босые ноги шкипера, словно заверяя его, что он здесь, подле него, и тут и останется, чем бы ни угрожало враждебное молчание земли; затем он поставил передние лапы на борт и, ощетинившись, стал сопеть, втягивая воздух, и тихонько ворчать.

— Что и говорить, они тут, — сказал ему шкипер; а Джерри, искоса взглянув на него улыбающимися глазами, вильнул хвостом, любовно откинул назад уши и, снова повернув морду к берегу, принялся читать повесть джунглей, которая доносилась к нему на легких крыльях душного, замирающего ветерка.

— Эй! — внезапно крикнул Ван Хорн. — Эй вы, ребята! Высуньте-ка головы!

И сразу все изменилось: необитаемые, казалось, джунгли ожили. В одну секунду появились сотни дикарей. Они выступили отовсюду из зарослей. Все были вооружены: одни снайдеровскими ружьями[10] и старинными самодельными пистолетами, другие — луками и стрелами, длинными метательными копьями, военными дубинками и томагавками с длинной рукояткой. Один из дикарей выпрыгнул на открытое место, где тропинка упиралась в воду. Если не считать украшений, он был наг, как Адам до грехопадения. В глянцевитых черных волосах торчало белое перо. Полированная игла из белой окаменелой раковины с заостренными концами проходила сквозь ноздри и торчала на пять дюймов поперек лица. Вокруг шеи, на шнурке, скрученном из волокон кокоса, висело ожерелье из клыков дикого кабана цвета слоновой кости. Повязка из белых раковин охватывала одну ногу под самым коленом. Пламенно-красный цветок был кокетливо засунут за ухо, а в дырке другого уха красовался свиной хвост, очевидно, недавно отрубленный, так как еще кровоточил.

Выпрыгнув на освещенное солнцем место, этот меланезийский денди со снайдеровским ружьем в руках прицелился, направив дуло прямехонько на Ван Хорна. Так же быстро действовал и Ван Хорн. Он моментально схватил свое ружье и прицелился. Так стояли они друг против друга, держа палец на спуске, разделенные сорока футами. Миллион лет, отделявший варварство от цивилизации, зиял между ними в этом узком пространстве в сорок футов. Современному, развитому человеку труднее всего позабыть древние привычки. И насколько ему легче забыть все нормы цивилизации и скользнуть назад — в прошлые века! Наглая ложь, удар в лицо, укол ревности в сердце могут в одну секунду превратить философа двадцатого века в обезьяноподобного жителя лесов, бьющего себя в грудь, скрежещущего зубами и жаждущего крови.

То же ощущал и Ван Хорн. Но с некоторой разницей. Он подчинил себе время. Он весь был и в современности и в первобытных веках — одновременно, он способен был пустить в ход зубы и когти, но желал оставаться современным до тех пор, пока ему удавалось подчинять своей воле этого дикаря с черной кожей и ослепительно белыми украшениями.

Долгие десять секунд протекли в молчании. Даже Джерри, сам не зная почему, приглушил свое ворчание. Сотня каннибалов — охотников за головами,

— стоявших у стены джунглей, пятнадцать возвращавшихся в Суу чернокожих, сидевших в лодке, семь чернокожих матросов и одинокий белый человек с сигарой в зубах, ружьем у бедра и ощетинившимся терьером, жмущимся к его голой икре, поддерживали торжественное молчание этих секунд, и ни один из них не знал и не предугадывал, чем кончится дело.

Один из возвращавшихся чернокожих в знак мира вытянул вперед открытую безоружную ладонь и начал что-то чирикать на непонятном диалекте Суу. Ван Хорн держал ружье наготове и ждал. Денди опустил свое ружье, и все участники этой сцены вздохнули свободнее.

— Мой — добрый парень, — пискнул денди не то по-птичьи, не то по-детски.

— Ты, парень, большой дурак, — грубо возразил Ван Хорн, бросая ружье и приказывая рулевому и гребцам развернуть шлюпку, небрежно затянулся сигарой, словно его жизнь не висела на волоске всего секунду назад.

— Мой говорит, — продолжал он, прикидываясь рассерженным. — Какого черта твой наставил на меня ружье? Мой не хотел тебя кай-кай. Мой, когда рассердится, будет тебя кай-кай. И твой, когда рассердится, будет меня кай-кай. А твой не хочет, чтобы парней из Суу кай-кай? Очень давно, три муссона тому назад, мой сказал правду. Мой сказал: пройдут три муссона, и парни из Суу придут назад. Мой говорит: три муссона кончились, и парни из Суу пришли назад.

Тем временем шлюпка развернулась, и Ван Хорн повернулся, чтобы стать лицом к вооруженному снайдеровским ружьем денди. По знаку Ван Хорна гребцы начали табанить, и лодка кормой пристала к берегу у тропинки. И каждый гребец, держа весло наготове на случай нападения, потихоньку ощупал свое ли-энфильдское ружье, спрятанное под брезентом.

— С тобой пришли хорошие парни? — осведомился у денди Ван Хорн.

Тот отвечал утвердительно: по обычаю Соломоновых островов, он полузакрыл глаза и чванливо вскинул вверх голову.

— Парни Суу, что пришли с тобой, не будут кай-кай?

— Нет, — ответил денди. — Парни Суу хороший. А придут парни не из Суу, мой говорит: будет беда. Ишикола, большой черный господин на этих местах, говорил моему: пойди и скажи — тут по джунглям ходят дурные парни. Большой белый господин, не надо ходить тут. Ишикола говорил: хороший белый господин, надо остаться на своя корабль.

Ван Хорн небрежно кивнул головой, словно это сообщение большой цены для него не имело; в действительности же он понял, что на этот раз Суу не доставит ему новых рекрутов. Он приказал чернокожим рабочим отправляться на берег поодиночке. Остальные должны были остаться на своих местах. Такова была тактика на Соломоновых островах. Скопление людей могло повлечь за собой опасность. Нельзя было разрешать чернокожим собираться группами. И Ван Хорн, с равнодушным и величественным видом покуривая сигару, не спускал глаз с негров, которые поодиночке пробирались на корму, каждый со своим сундучком на плече, и сходили на берег. Один за другим они скрылись в зеленом тоннеле, и когда последний сошел на берег, Ван Хорн приказал гребцам возвращаться к судну.

— На этот раз здесь нечего делать, — сказал он помощнику. — Утром мы снимемся с якоря.

Тропические сумерки быстро сменились тьмой. На небе высыпали звезды. Ни малейшего дыхания ветерка не пробегало над водой, и от сыроватого зноя тела и лица обоих мужчин покрылись каплями пота. Они лениво поужинали на палубе, то и дело отирая рукой едкий пот со лба.

— И зачем только человек тащится на Соломоновы острова, в эту проклятую дыру! — пожаловался помощник.

— И остается здесь, — отозвался капитан.

— Слишком уж я прогнил от лихорадки, — проворчал Боркман. — Я бы умер, если бы уехал отсюда. Помнишь, два года назад я пытался это сделать. Но как попадешь в холодный климат, так лихорадка и выступает наружу. В Сидней меня привезли совсем больным. Пришлось отправить в карете в госпиталь. Мне становилось все хуже и хуже. Доктора мне сказали, что единственное средство — вернуться назад, туда, где я захватил лихорадку. Если я это сделаю, могу прожить долго. Если же останусь в Сиднее, конец не заставит себя ждать. Положили меня в карету и отправили на судно. Вот и все, что я видел в Австралии за мой отпуск. Я не хочу оставаться на Соломоновых островах. Здесь сущий ад. Но выбор таков: или оставайся, или подыхай.

Он отсыпал на глаз гран тридцать хинина, завернул в папиросную бумагу, секунду угрюмо смотрел на комочек, затем проглотил его. Глядя на него, и Ван Хорн потянулся за пузырьком и принял такую же дозу.

— Не мешает натянуть брезент, — заметил он.

Под руководством Боркмана несколько человек из команды занавесили тонким брезентом обращенную к берегу сторону «Эренджи». Это была мера предосторожности против шальной пули, так как всего сотня футов отделяла судно от прибрежных мангиферовых зарослей.

Ван Хорн послал Тамби вниз за маленьким фонографом и поставил с дюжину поцарапанных, визжавших пластинок, уже тысячу раз бывших в употреблении. Слушая музыку, Ван Хорн вспомнил о дикарке и приказал вытащить ее из темной норы в лазарете, чтобы и она послушала фонограф. Девушка в страхе повиновалась, полагая, что час ее пробил. Расширенными от ужаса глазами она глядела на большого белого господина и долго дрожала всем телом, уже после того как он велел ей лечь. Фонограф никакого впечатления на нее не

произвел. Она знала только страх — страх перед этим ужасным белым господином, которому, по ее глубокому убеждению, она была обречена на съедение.

Джерри покинул гладившую руку шкипера, чтобы подойти к девушке и обнюхать ее. Долг побудил его еще раз ее опознать. Что бы ни случилось, сколько месяцев или лет ни протекло бы впредь, он всегда сможет ее узнать. Затем он вернулся к шкиперу, и тот снова стал гладить его одной рукой, держа в другой дымящуюся сигару.

Влажный, удушливый зной становился невыносимым. Воздух был наполнен тошнотворными сырыми испарениями, вздымавшимися над мангиферовыми болотами. Дребезжащая музыка напомнила Боркману далекие порты и города, и, лежа плашмя на горячей палубе, он отбивал босой ногой зорю и вел тихий монолог, сплошь состоящий из ругательств. А Ван Хорн, поглаживая тяжело дышавшего Джерри, безмятежно и философски курил, зажигая свежую сигару всякий раз, как кончалась старая.

Внезапно он встрепенулся, услышав слабый плеск весел. Собственно говоря, насторожиться его заставило тихое ворчание ощетинившегося Джерри. Вытащив из складки набедренной повязки динамитный патрон и убедившись, что сигара не потухла, он быстро, но не суетясь, поднялся на ноги и подошел к поручням.

— Как тебя звать? — крикнул он в темноту.

— Мой звать Ишикола, — раздался в ответ дрожащий, старческий фальцет.

Раньше чем снова заговорить, Ван Хорн наполовину вытащил из кобуры свой автоматический пистолет и передвинул кобуру с бедра, чтобы она приходилась у него под рукой.

— Сколько парней с тобой идет? — спросил он.

— Мой идет всего десять парень, — ответил старческий голос.

— Подходите к борту. — Не поворачивая головы, бессознательно опустив правую руку на пистолет, Ван Хорн скомандовал: — Эй, Тамби! Тащи фонарь! Не сюда, а на корму, к бизани, и гляди в оба.

Тамби повиновался и отнес фонарь на двадцать футов от того места, где стоял капитан. Это давало Ван Хорну преимущество над приближающимися в пироге людьми: фонарь, спущенный через колючую проволоку за поручни, ярко освещал подплывшую лодку, тогда как сам Ван Хорн оставался в полутьме.

— Греби, греби! — побуждал он, так как люди в невидимой пироге все еще медлили.

Раздался плеск весел, и на пространство, освещенное фонарем, вынырнул высокий черный нос пироги, изогнутый, как гондола, и инкрустированный перламутром; затем показалась и вся пирога; чернокожие, стоя на коленях на дне лодки, гребли, их глаза блестели, черные тела лоснились. Ишикола, старый вождь, сидел посредине и не греб; беззубыми деснами он сжимал незажженную короткую глиняную трубку. А на корме стоял чернокожий денди; все украшения его были ослепительно белы, за исключением свиного хвостика в одном ухе и ярко-красного цветка, все еще пламеневшего над другим ухом.

Бывали случаи, когда человек десять чернокожих нападали на судно вербовщика, если оно управлялось не более чем двумя белыми, и потому рука Ван Хорна легла на спуск его автоматического пистолета, хотя он и не вытащил его из кобуры. Левой рукой он поднес ко рту

сигару и сильно затянулся.

— Здорово, Ишикола, старый негодяй! — приветствовал Ван Хорн старого вождя, когда денди, подсунув свое весло под дно пироги и действуя им как рычагом, подвел его к «Эренджи», так что оба судна стояли бок о бок.

Ишикола, освещенный фонарем, поднял голову и улыбнулся. Он улыбался правым глазом — единственным, оставшимся у него: левый был пронзен стрелой когда-то, в одной из юношеских стычек в джунглях.

— Мой говорит! — крикнул он в ответ. — Твой долго не видели мои глаза.

Ван Хорн на жаргоне стал подшучивать над ним, расспрашивая о новых женах, которыми тот наполнил свой гарем, и о том, сколько свиней он за них заплатил.

— Я говорю, — заключил он, — слишком уж ты богатый парень.

— Мой хотел прийти к твоему на борт, — смиренно намекнул Ишикола.

— А я говорю, ночью нельзя, — возразил капитан. Всем известное правило гласило, что с наступлением ночи посетители на борт не допускаются. Затем, подумав, он сделал уступку: — Ты иди на борт, а парни останутся в лодке.

Ван Хорн галантно помог старику вскарабкаться на поручни, перешагнуть через колючую проволоку и спуститься на палубу. Ишикола был грязный старый дикарь. Одно из его тамбо («тамбо» у меланезийцев и на морском жаргоне означает «табу») гласило, что вода никогда не должна касаться его кожи. Он, живший у берегов океана, в стране тропических ливней, добросовестно избегал соприкосновения с водой. Он никогда не купался, не переходил вброд, а от ливня всегда бежал под прикрытие. Но остального его племени это не касалось. Таково было своеобразное тамбо, наложенное на него колдунами. На других членов племени колдуны налагали другие табу: им запрещалось есть акулу, трогать черепаху, прикасаться к крокодилам или ископаемым останкам крокодилов, либо всю жизнь избегать оскверняющего прикосновения женщины и женской тени, упавшей на траву.

Итак, Ишиколу, для которого вода была табу, покрывала кора многолетней грязи. Шелудивый, словно больной проказой, с худым лицом, весь морщинистый, он сильно хромал от полученного некогда удара копьем в бедро. Но его единственный глаз блестел ярко и злобно, и Ван Хорн знал, что этим одним глазом Ишикола видит не хуже, чем сам он своими двумя.

Ван Хорн поздоровался с ним за руку — эту честь он оказывал только вождям — и знаком предложил присесть на корточки на палубе, неподалеку от пораженной ужасом девушки, которая снова начала дрожать: ей вспомнилось, как Ишикола предложил однажды десять десятков кокосовых орехов за обед, приготовленный из нее.

Джерри во что бы то ни стало должен был обнюхать этого противного, хромого, голого, одноглазого старика, чтобы в будущем его распознать. А обнюхав его и запомнив своеобразный запах, Джерри почувствовал потребность угрожающе зарычать, чем заслужил одобрительный взгляд шкипера.

— Мой говорит, хорошо будет кай-кай эта собака, — сказал Ишикола. — Мой дает три фут раковин и берет собака.

Это предложение было щедрым, так как три фута раковин, нанизанных на шнурок из

скрученных волокон кокоса, равнялись полусоверену в английской валюте, двум с половиной долларам в американской, или, переведя на здешнюю ходячую монету — живых свиней, — половине крупной, жирной свиньи.

— Эта собака стоит семь футов раковин, — возразил Ван Хорн, в глубине души прекрасно зная, что не продаст Джерри и за сотню футов раковин или за любую баснословную цену, даваемую чернокожими. Такую маленькую сумму он назначил для того, чтобы чернокожие не заподозрили, как высоко оценивает он в действительности златошерстного сына Бидди и Терренса. Затем Ишикола заявил, что девушка сильно исхудала и он как знаток мяса не может предложить за нее на этот раз больше, чем три раза по двадцать связок кокосов.

Обменявшись любезностями, белый господин и чернокожий повели разговор; первый чванился превосходством разума и знаний белого человека, второй чутьем угадывал недоговоренное. Ишикола был примитивным государственным мужем и теперь пытался уяснить себе равновесие человеческих и политических сил, давивших на его территорию Суу, в десять квадратных миль. Эта территория была ограничена морем и линиями фронта междуплеменной войны, которая была древнее самого древнего мифа Суу. То одно, то другое племя побеждало, захватывало головы и поедало тела. Границы оставались неизменными. Ишикола на грубом морском жаргоне старался узнать об общем положении Соломоновых островов по отношению к Суу, а Ван Хорн не прочь был вести нечистую дипломатическую игру, какая ведется во всех министерствах великих держав.

— Я говорю, — заключил Ван Хорн, — в этих местах слишком много у вас злых парней. Берете вы слишком много голов; слишком много кай-кай длинных свиней («длинные свиньи» означали зажаренное человеческое мясо).

— Мой говорит, черные парни Суу всегда брать головы и кай-кай длинные свиньи, — возразил Ишикола.

— Слишком много в этих местах злых парней, — повторил Ван Хорн. — Тут, поблизости, стоит большой военный корабль; скоро он подойдет сюда и выколотит семь склянок из Суу.

— Как звать большой военный корабль у Соломоновых? — спросил Ишикола.

— Большой корабль «Кэмбриен» — вот как звать корабль, — солгал Ван Хорн, слишком хорошо зная, что за последние два года ни один британский крейсер не заходил на Соломоновы острова.

Разговор, принимавший характер шутовской декларации об отношениях, какие установятся между государствами, столь несходными по величине, был прерван криком Тамби. Чернокожий спустил за борт другой фонарь и сделал неожиданное открытие.

— Шкипер, у него в лодке ружья! — крикнул он.

Ван Хорн одним прыжком очутился у поручней и свесился вниз через колючую проволоку. Ишикола, несмотря на свое искалеченное тело, отстал от него всего на несколько секунд.

— Какого черта на дне лодки лежат ружья? — негодующе спросил Ван Хорн.

Денди, сидевший на корме, постарался подпихнуть ногой зеленые листья так, чтобы они прикрыли выступавшие приклады нескольких ружей, но только испортил все дело. Он наклонился, чтобы рукой сгрести листья, но тотчас же выпрямился, когда Ван Хорн заревел на него сверху:

— Смирно сидеть! Руки прочь, парень!

Повернувшись к Ишиколе, Ван Хорн симулировал гнев, которого в действительности не чувствовал, так как уловка была старая и периодически повторялась.

— Какого черта ты едешь на судно, а ружья лежат у тебя в лодке?! — грозно спросил он.

Старый вождь закатил свой единственный глаз и моргнул с видом глупым и невинным.

— Я на тебя сердит, много сердит, — продолжал Ван Хорн. — Ишикола, ты дрянной парень. Убирайся к черту за борт!

Старик запрыгал к поручням проворнее, чем можно было от него ждать, без посторонней помощи перешагнул через колючую проволоку и прыгнул в пирогу, искусно удержавшись на здоровой ноге. Затем поднял голову и моргнул, моля о прощении и заверяя в своей невинности. Ван Хорн отвернулся, чтобы скрыть улыбку, а потом открыто ухмыльнулся, когда старый плут, показывая свою пустую трубку, вкрадчиво спросил:

— Может, твой даст моему пять пачка табаку?

Пока Боркман ходил вниз за табаком, Ван Хорн проповедовал Ишиколе о святости чести и обещаний, затем перегнулся через колючую проволоку и вручил ему пять пачек табаку.

— Я говорю, — пригрозил он, — когда-нибудь, Ишикола, я тебя совсем прикончу. Ты нехороший друг у берегов соленой воды. Ты большой дурак и убирайся в джунгли.

Когда Ишикола попробовал протестовать, Ван Хорн резко оборвал его:

— Я говорю, слишком много ты со мной болтаешь.

Все-таки пирога медлила. Денди украдкой старался нащупать ногой приклады ружей под зелеными листьями, а Ишикола не имел ни малейшего желания уезжать.

— Греби! Греби! — неожиданно крикнул Ван Хорн.

Гребцы, не дожидаясь команды вождя или денди, невольно повиновались и глубокими, сильными ударами весел вывели пирогу из освещенного круга. С такой же быстротой Ван Хорн переменил свое место на палубе, отпрыгнул ярдов на двенадцать, чтобы случайная пуля его не настигла. Затем он присел на корточки, прислушиваясь к плеску весел, замиравшему вдали.

— Тамби, — спокойно приказал он, — пусти нам музыку.

И пока с дребезжащей пластинки срывалась красивая мелодия «Красное крыло», он курил сигару, опираясь локтем о поручни и обнимая Джерри. Куря, он следил, как звезды затуманивались дождем, надвигавшимся с подветренной стороны. Собираясь приказать Тамби отнести вниз фонограф и пластинки, он заметил дикарку, в немом страхе глядевшую на него. Он ей кивнул в знак согласия, полузакрыв глаза и вскинув голову, и рукой указал на рубку. Она повиновалась, как повинуется побитая собака, и поднялась на ноги, дрожа и в ужасе озираясь на большого белого господина, который, как она была убеждена, в один прекрасный день съест ее. И эта невозможность объяснить ей через пропасть веков свои добрые намерения кольнула Ван Хорна. Она скользнула в рубку и сползла по трапу вперед ногами, словно какой-то огромный, большеголовый червь.

Послав вслед за ней вниз Тамби с драгоценным фонографом, Ван Хорн продолжал курить, а острые, как иглы, брызги дождя освежали его разгоряченное тело.

Через пять минут дождь прекратился. Небо опять покрылось звездами; зловонный запах поднялся с мангиферовых болот, а удушливый зной снова усилился.

Ван Хорн никогда ничем не болел, если не считать лихорадки; и сейчас он даже не потрудился пойти за одеялом.

— Твоя вахта первая, — сказал он Боркману. — Поутру я выведу судно из бухты.

Он положил голову на бицепс правой руки, левой рукой прижал к груди Джерри и погрузился в сон.

Так, рискуя жизнью, белые и местные чернокожие влачили день за днем на Соломоновых островах, занимаясь торговлей и стычками; белые старались сохранить головы на своих плечах, а чернокожие также единодушно старались завладеть головами белых и одновременно сохранить свои собственные головы.

А Джерри, знакомый только с миром лагуны Мериндж, узнал, что эти новые миры — судно «Эренджи» и остров Малаита, — по существу, не отличаются от первого, и с проблеском понимания взирал на вечную игру людей.

Глава десятая

На рассвете «Эренджи» снялся с якоря. Паруса тяжело повисли в мертвом воздухе, и судовая команда, спустившись в вельбот, налегла на весла и на буксире тянула судно через узкий проход. Один раз, когда кеч, подхваченный случайным течением, приблизился к берегу, чернокожие, оставшиеся на борту, сбились в кучу, как испуганные овцы в загоне, заслышавшие вой мародера диких лесов. И не нужно было Ван Хорну кричать гребцам в вельботе: «Греби, греби, черти!» Судовая команда, поднимаясь со скамей, всем весом налегала на весла. Они знали, какая страшная судьба грозит им, если «Эренджи» застрянет на омываемом морем коралловом рифе. Они испытывали тот же страх, что и запуганная девушка внизу, в лазарете. В прошлом немало парней из Ланга-Ланга и Сомо попали на пиршественный стол в Суу, точно так же как парни из Суу поставляли лакомые блюда в Ланга-Ланга и Сомо.

— Мой говорит, — обратился стоявший у руля Тамби к Ван Хорну, когда общее напряжение спало и «Эренджи» вышел в открытое море, — брат моего отца давно-давно пришел на это место на судне. На большая шхуна пришел брат моего отца. Все остались на этом месте в Суу. Брат моего отца парни Суу кай-кай.

Ван Хорн вспомнил, как пятнадцать лет назад судно «Фэйр-Хатавей» было разграблено и сожжено племенем Суу, а весь экипаж перебит. Действительно, Соломоновы острова в начале двадцатого века были дикими островами, а самым диким из них был большой остров Малаита.

Шкипер испытующе окинул взглядом покрытые лесом склоны горы Колорат, служившей указанием для мореходов; ее окутанная облаками вершина вздымалась в небо на четыре тысячи футов. Столбы дыма взвивались вверх над ее склонами и с вершин более низких гор.

— Мой говорит, — усмехнулся Тамби, — много парни сидит в кусты и смотрит на судно.

Ван Хорн улыбнулся с понимающим видом. Он знал этот древний способ передачи новостей

сигналами дыма; сейчас из деревни в деревню от племени к племени давали сигнал: с подветренной стороны идет судно, вербующее рабочих.

Все утро под свежим ветерком, подувшим с восходом солнца, «Эренджи» летел к северу, а учащавшиеся столбы дыма, вьющиеся над зелеными вершинами, возвещали о его курсе. В полдень Ван Хорн со своим неизменным спутником Джерри стоял на носу и следил за ходом кеча, а «Эренджи», лавируя, шел против ветра в пролив между двумя островками, поросшими группами пальм. Нужно было зорко следить за курсом. Из бирюзовых глубин повсюду вздымались коралловые рифы, являвшие гамму зеленых тонов от темного нефрита до бледного турмалина, а море, набегая на них, меняло оттенки цветов, лениво пенилось или вздымалось фонтаном искрящихся на солнце брызг.

Столбы дыма по вершинам завели оживленную болтовню, и задолго до того, как «Эренджи» прошел через пролив, весь подветренный берег, от приморских жителей до отдаленнейших лесных деревень, знал, что судно-вербовщик направляется к Ланга-Ланга. Когда открылась лагуна, образованная цепью прибрежных островков, Джерри почуял запах жилья. По гладкой поверхности лагуны двигалось множество пирог: одни приводились в движение веслами, другие подгонялись свежим юго-восточным пассатом, надувавшим паруса из листьев кокосовых пальм. На пироги, слишком близко подходившие, Джерри грозно лаял, ощетинив шерсть и изображая яростного защитника белого господина, стоявшего подле него. И после каждой такой демонстрации он мягко тыкался холодной, влажной мордой в обожженную солнцем ногу шкипера.

Войдя в лагуну, «Эренджи» понесся, пользуясь боковым ветром. Сделав полмили, он повернулся; передние паруса были спущены, захлопали грот и бизань, и якорь был отдан на глубине пятидесяти футов. Вода была так прозрачна, что можно было разглядеть на коралловом дне огромные извилистые двустворчатые раковины. Возвращавшихся в Ланга-Ланга рабочих не нужно было отвозить на берег в вельботе. Сотни пирог ждали по обе стороны «Эренджи», и каждого парня, с его сундучком и колокольчиком, вызывали десятки родственников и друзей.

Ввиду царившего возбуждения Ван Хорн никого не пускал на борт. Меланезийцы в отличие от животных в атаку переходят так же быстро, как и в отступление. Два матроса стояли у лиэнфильдских ружей, сложенных на люке. Боркман следил, как одна половина команды занималась приборкой судна. Ван Хорн с Джерри, следовавшим за ним по пятам, руководил отплытием возвращавшихся в Ланга-Ланга чернокожих и зорко наблюдал за второй половиной судовой команды, охранявшей проволочное ограждение. А парни из Сомо расселись на своих сундучках, чтобы чернокожие из Ланга-Ланга не сбросили их вещи в поджидавшие пироги.

Через полчаса шумная толпа отплыла на берег. Замешкалось только несколько пирог, и с одной из них Ван Хорн поманил на борт Нау-Хау, сильнейшего вождя из укрепленного поселка Ланга-Ланга. Большинство великих вождей племени были стариками, но Нау-Хау был молод и в отличие от большинства меланезийцев даже красив.

— Здорово, царь Вавилонский! — поздоровался Ван Хорн, давший ему это прозвище за воображаемое сходство с семитами и грубую силу, наложившую отпечаток на его лицо и сказывавшуюся в походке.

С детства приученный к наготе, Нау-Хау шествовал по палубе смело и не стыдясь. Все его одеяние состояло из затянутого вокруг талии ремня от чемодана. Между этим ремнем и голым телом был заткнут клинок поломанного ножа, дюймов в десять длины. Единственным его украшением являлась белая фарфоровая суповая тарелка. Она была просверлена, надета на

шнурок из кокосовых волокон и свешивалась с шеи, покоясь на его груди и наполовину прикрывая сильные мускулы. Это было величайшее сокровище. Ни один человек на Малаите не имел целой суповой тарелки.

Но суповая тарелка не вызывала смеха, как не казалась смешной и его нагота. Он был знатного рода. До него вождем был его отец, а сам он превзошел своего отца. Жизнь и смерть держал он в своих руках. Часто пользовался он этой властью, чирикая своим подданным на языке Ланга-Ланга: «Убей здесь» и «Убей там», «Ты умрешь» и «Ты будешь жить». Когда его отец, за год до того сложивший с себя сан, вздумал безрассудно вмешаться в государственные дела своего сына, тот призвал двух молодцов и повелел стянуть петлю из кокосовых волокон на шее отца, дабы отныне тот не дышал. Когда его любимая жена, мать первенца, осмелилась по глупости нарушить одно из его царственных табу, он приказал ее убить, и самолично и добросовестно съел всю, вплоть до мозга из переломанных костей, не подарив ни кусочка своим ближайшим друзьям.

Царственным он был и по рождению, и по воспитанию, и по делам своим. И в походке его сквозило сознание своего царственного достоинства. Он выглядел царственным, как может выглядеть царственным великолепный жеребец или лев, нарисованный на фоне пустыни. Его торс, грудь, плечи, голова были великолепны. Великолепен был и ленивый, надменный взгляд из-под тяжелых век.

В эту минуту на борту «Эренджи» царственной была храбрость Нау-Хау, хотя он знал, что ступает по динамиту. Давно уже он на горьком опыте узнал, что белый человек — тот же динамит и подобен таинственному смертоносному метательному снаряду, каким пользуются иногда белые. Еще будучи подростком, он участвовал в нападении на сандаловый куттер, который был даже меньше «Эренджи». Этой тайны он никогда не мог забыть. Двое из трех белых были убиты на его глазах, и на палубе им отрубили головы. Третий за минуту до того ускользнул вниз. И тогда куттер со всем своим богатством — железными кольцами, табаком, ножами и коленкором — взлетел на воздух и снова упал в море, разбитый на мельчайшие куски. То был динамит — тайна. А сам Нау-Хау, пролетев по воздуху и каким-то чудом уцелев, понял тогда, что белые люди — тот же динамит и в них та же тайна, как и в веществе, которым они оглушают целые стаи проворных голавлей или в случае необходимости взрывают самих себя и свои корабли, пришедшие по морю из далеких стран. И все же твердой, тяжелой поступью он шел по этому смертоносному веществу, из которого, как ему было известно, состоял Ван Хорн. И при этом осмеливался давить на это вещество, рискуя взрывом.

— Мой говорит, — начал он, — почему твой слишком долго держал мой парень?

То было вполне справедливое обвинение: рабочие, которых только что доставил Ван Хорн, пробыли в отлучке три с половиной года вместо трех.

— Если ты, парень, будешь так разговаривать, я на тебя рассержусь много-много! — ощетинился в ответ Ван Хорн, а затем дипломатически прибавил, запустив руку в ящик и достав оттуда пригоршню табаку: — Лучше ты покури и заведи разговор о чем-нибудь хорошем.

Но Нау-Хау величественно отстранил дар, несмотря на то, что ему очень хотелось его взять.

— Много-много табаку мой есть, — солгал он, а затем спросил: — Как звать парень — ушел и не вернулся?

Ван Хорн вытащил из складки набедренной повязки длинную и узкую отчетную книгу; и,

глядя, как он перелистывает страницы, Нау-Хау ощущал динамитную, высшую власть белого человека, помогающую ему извлекать воспоминания из замаранных листов книги, а не из собственной головы.

— Сати… — начал Ван Хорн, ведя пальцем по записи; глаза его, отрываясь от страницы, зорко следили за чернокожим вождем, стоявшим перед ним. А чернокожий вождь взвешивал, насколько удобен этот момент, чтобы подскочить к белому сзади и одним ударом ножа перерубить ему спинной мозг у основания шеи.

— Сати, — читал Ван Хорн. — Прошлый муссон, как раз в это время, парень Сати болел животом много-много; потом парень Сати совсем нет. — Так перевел Ван Хорн на морской жаргон запись: «Умер от дизентерии 4 июля 1901 года».

— Много работа парень Сати, долгое время, — вел свою линий Нау-Хау. — Что стало его деньги?

Ван Хорн мысленно сделал подсчет.

— Всего он заработал шесть раз по десять фунтов и два фунта золотыми деньгами, — перевел он шестьдесят два фунта жалованья. — Я платил вперед отцу один раз по десять фунтов и пять фунтов. Остался четыре раза по десять фунтов и семь фунтов.

— Что стало четыре раза по десять фунтов и семь фунтов? — спросил Нау-Хау, который лишь произнес, но умом не мог постичь столь чудовищную сумму.

Ван Хорн поднял руку.

— Очень много торопишься, парень Нау-Хау. Парень Сати купил на плантации сундук за два раза по десять фунтов и один фунт. Ему, Сати, осталось два раза по десять фунтов и шесть фунтов.

— Где два раза по десять фунтов и шесть фунтов? — спросил неумолимый Нау-Хау.

— У меня, — кратко ответил капитан.

— Дай два раза по десять фунтов и шесть фунтов.

— Проваливай к черту! — отказал Ван Хорн, и в его голубых глазах чернокожий вождь почуял отблеск динамита, из которого сделаны белые люди, и перед ним встало видение того кровавого дня, когда он впервые увидел взрыв динамита и был подброшен на воздух.

— Как звать старого парня в пироге? — спросил Ван Хорн, указывая на пирогу у борта «Эренджи». — Отец Сати?

— Ему отец Сати, — подтвердил Нау-Хау.

Ван Хорн позвал старика на борт, дал знак Боркману, чтобы тот следил за порядком на палубе и за поведением Нау-Хау, и спустился вниз за деньгами. Вернувшись, он, подчеркнуто не обращая внимания на вождя, обратился к старику:

— Как тебя звать?

— Мой парень Нино, — ответил тот дрожащим голосом. — Парень Сати мой.

Ван Хорн взглянул на Нау-Хау, ожидая подтверждения. Тот кивнул, по обычаю Соломоновых островов вскинул голову вверх. Тогда Ван Хорн отсчитал в руку отца Сати двадцать шесть золотых соверенов.

Нау-Хау тотчас же протянул руку и взял деньги. Двадцать золотых монет вождь оставил себе, а остальные шесть вернул старику. Ван Хорну до этого не было дела. Свой долг он выполнил и расплатился честно. Тирания вождя над своими подданными его не касалась.

Оба господина — и белый и черный — были собой довольны. Ван Хорн уплатил долг; Нау-Хау по праву вождя отнял у старика заработок Сати. Но Нау-Хау не прочь был почваниться. Он отклонил предложенный в подарок табак, купил у Ван Хорна ящик табаку за пять фунтов и, настояв, чтобы его немедленно вскрыли, набил свою трубку.

— Много хороших парней в Ланга-Ланга? — с невозмутимой вежливостью осведомился Ван Хорн, желая поддержать разговор и подчеркнуть свою беспечность.

Царь Вавилонский усмехнулся, но не удостоил ответом.

— Сойти на берег и прогуляться? — с вызывающим видом продолжал Ван Хорн.

— Может, будет беда, — не менее вызывающе отозвался Нау-Хау. — Много-много дурной парень тебя кай-кай.

От этих слов у Ван Хорна мурашки пробежали по голове, совсем как у Джерри, когда тот щетинился.

— Эй, Боркман! — крикнул он. — Подтянуть вельбот!

Когда вельбот остановился у борта «Эренджи», Ван Хорн с сознанием собственного превосходства спустился первым и затем пригласил Нау-Хау следовать за собой.

— Тебе говорю, царь Вавилонский, — пробормотал он на ухо вождю, когда гребцы взялись за весла, — если какой парень мне повредит, пристрелю тебя. А затем взлетит на воздух Ланга-Ланга. И ты будешь идти подле меня. Не захочешь идти — конец тебе будет.

Одинокий белый человек спустился на берег, сопровождаемый ирландским терьером, чье собачье сердце было переполнено любовью к нему, и черным царьком, благоговевшим перед динамитом белых людей. Ван Хорн, босой, чванливо разгуливал по поселку в три тысячи человек; его белый помощник, тяготевший к водке, наблюдал за порядком на палубе крохотного судна, ставшего на якорь у самого берега. А чернокожая команда вельбота с веслами в руках ждала, когда прыгнет на корму тот, кому они, не любя, служили и чьей головой они охотно завладели бы, не останавливай их страх перед ним.

Ван Хорн и не думал раньше сходить на берег, но сделал это лишь в ответ на вызов чернокожего вождя. Около часу бродил он по поселку, держа правую руку у спуска автоматического пистолета и зорко следя за нехотя сопровождавшим его Нау-Хау. Вулканический гнев Нау-Хау готов был вспыхнуть при первом удобном случае. И во время этой прогулки Ван Хорну дано было увидеть то, что могли видеть лишь немногие белые, ибо Ланга-Ланга и соседние с ним островки — великолепные бусы, нанизанные вдоль подветренного берега Малаиты, — исключительны по своей красоте и совсем не исследованы.

Первоначально эти островки представляли лишь песчаные отмели и коралловые рифы, омываемые морем, либо скрытые под водой. Только загнанные, несчастные создания,

способные вынести невероятные тяготы, могли влачить на них жалкое существование. Но эти существа, спасшиеся от резни в деревнях, ускользнувшие от гнева и судьбы длинных свиней, предназначенных для кухонного котла, пришли на островки и выжили здесь. Они, знавшие раньше только лесную жизнь, познали соленую воду и приобрели навыки приморских жителей. Они изучили нравы рыб и моллюсков и изобрели крючки и лесы, сети и капканы для рыб и весь сложный аппарат, с помощью которого можно добыть из изменчивого, ненадежного моря плавающее мясо.

Эти пришельцы похищали женщин из деревень, лежавших в глубине острова, плодились и размножались. Трудясь, как геркулесы, под палящим солнцем, они завоевали море. Свои коралловые рифы и песчаные отмели они обвели стенами из кораллового камня, украденного темными ночами в дальних поселениях. Не имея ни известки, ни долота, они построили отличные стены, противостоящие напору океана. И как мыши по ночам обкрадывают человеческие жилища, так и они обокрали остров, увезя на миллионах пирог богатый чернозем.

Прошли века — и вот вместо голых песчаных отмелей, полускрытых водой, возникли обведенные стенами крепости. К морю были проведены спусковые полозья для длинных пирог, а стены защищались со стороны острова лагунами. Кокосовые пальмы, банановые деревья и величественные хлебные деревья давали им пищу и служили защитой от солнца. Их сады процветали. Их длинные, узкие военные пироги опустошали берега и мстили потомкам тех, кто преследовал и стремился пожрать их праотцев.

Подобно беглецам, скрывшимся в соленых болотах Адриатики и воздвигшим дворцы мощной Венеции на глубоко вбитых сваях, эти жалкие, загнанные чернокожие упрочивали свою власть, пока не стали господами всего острова и не взяли в свои руки торговлю и торговые пути. Отныне и навсегда они принудили лесных жителей оставаться в лесах и не дерзать приближаться к морю.

И здесь, среди отважных приморских жителей, Ван Хорн шел своей дорогой, рисковал и не верил в возможность близкой смерти. Он знал, что делает это для успеха вербовки рабочих, необходимых другим отважным белым людям на далеких островах.

Через час Ван Хорн переправил Джерри на корму вельбота и сам последовал за ним, оставив на берегу ошеломленного и недоумевающего чернокожего царька. А царек более чем когда-либо проникся уважением к состоящим из динамита белым людям, привозившим ему табак, коленкор, ножи и топоры и неизменно извлекавшим прибыль из этой торговли.

Глава одиннадцатая

Вернувшись на борт, Ван Хорн приказал немедленно поставить паруса и сняться с якоря. «Эренджи», лавируя, пронесся по лагуне, покрывая десять миль, отделявшие его от Сомо. По пути Ван Хорн зашел в Бину, чтобы приветствовать вождя Джонни и спустить на берег несколько человек рабочих. Теперь оставалось совершить путешествие до Сомо — последний рейс «Эренджи» и многих, находившихся на его борту.

Прием, оказанный Ван Хорну в Сомо, был полной противоположностью приему в Ланга-Ланга. Как только спустили на берег возвратившихся рабочих

— а это было сделано в три тридцать пополудни, — Ван Хорн пригласил на борт вождя Башти. И вождь Башти явился. Несмотря на свой престарелый возраст, это был человек проворный и живой и очень добродушно настроенный

— до того добродушно, что он непременно пожелал захватить с собой на борт трех своих пожилых жен. В прошлом этому не бывало примера. Никогда не разрешал он ни одной из своих жен появляться перед лицом белого, и Ван Хорн был до того польщен этой честью, что презентовал каждой глиняную трубку и двенадцать пачек табаку.

Несмотря на поздний час, торговали бойко. Башти захватил львиную долю заработка, принадлежавшего отцам двух умерших парней, и щедро покупал товары «Эренджи». Когда Башти пообещал много новых рекрутов, Ван Хорн, зная изменчивый характер дикарей, стал настаивать на том, чтобы записать их немедленно. Башти колебался и предлагал отложить до завтра, а Ван Хорн уверял, что удобней всего записать их именно сейчас. Он говорил очень убедительно, и старый вождь послал наконец пирогу на берег за парнями, предназначавшимися для отправки на плантации.

— Ну, что ты на это скажешь? — спросил Ван Хорн Боркмана, у которого глаза были мутнее обычного. — Никогда еще старый плут не бывал так любезен. Быть может, у него что-нибудь неладное на уме?

Помощник поглядел на многочисленные пироги, стоявшие у борта «Эренджи», заметил, сколько было в них женщин, и покачал головой.

— Когда они что-нибудь затевают, своих женщин они отправляют в лес, — сказал он.

— Ничего нельзя предвидеть с этими неграми, — проворчал капитан. — Сметки у них, может, и не хватает, но время от времени они выдумывают что-нибудь новенькое. А Башти — самый сметливый старый негр, какого я когда-либо знал. Что может помешать ему задумать такую штуку и повести игру шиворот-навыворот? До сих пор они не таскали за собой женщин, когда затевали недоброе, но это еще не значит, что они всегда так будут поступать.

— Даже у Башти не хватит ума на такую штуку, — возразил Боркман. — Просто он настроен сегодня добродушно и раскошелился. Ведь он уже купил у вас на сорок фунтов всякого добра. Вот почему он хочет доставить вам новую партию рабочих, и, готов биться об заклад, он надеется, что половина перемрет и он сможет растратить их жалованье.

Доводы были веские. Тем не менее Ван Хорн покачал головой.

— Все-таки глядите в оба, — посоветовал он. — И помните: нам не следует одновременно спускаться вниз. И к водке не прикасайтесь, пока мы не выберемся из этой каши.

Башти был невероятно тощ и поразительно стар. Он сам не знал, сколько ему лет; он знал только, что ни один из его племени еще не родился на свет, когда он был мальчишкой. Он помнил дни, когда родился кое-кто из стариков, живших еще и по сей день; но теперь это были дряхлые, трясущиеся старцы, с подслеповатыми глазами, беззубые, глухие или парализованные. Он не походил на них. Он даже мог похвалиться остатками зубов — дюжиной корней, стершихся до уровня десен, которыми ему и сейчас еще удавалось разжевывать пищу. Хотя прежней юношеской выносливости у него уже не стало, но мыслил он по-прежнему самостоятельно и ясно. И благодаря его ясному мышлению племя стало сильнее с тех пор, как он сделался вождем. То был меланезийский Наполеон в маленьком масштабе. Воюя, он сумел отодвинуть границы лесных жителей. Рубцы на его высохшем теле свидетельствовали о том, что он сражался в первых рядах. Управляя, он поощрял сильных и способных людей своего племени. А в политике он всегда одерживал верх над соседними вождями в заключении выгодных договоров.

И теперь в его живом уме родился план, с помощью которого он надеялся перехитрить Ван

Хорна и подставить ножку великой Британской империи; о ней у Башти имелись лишь самые смутные сведения.

Дело в том, что Сомо имел свою историю. По странному стечению обстоятельств приморское племя обосновалось на земле, где обычно живут лишь лесные жители. Фольклор Сомо бросает чуть брезжущий свет в глубь времен. Однажды, давным-давно, в незапамятные времена, некто Сомо, сын Лоти, который был вождем островной крепости Умбо, поссорился со своим отцом и бежал от его гнева. С ним ушли на двенадцати пирогах другие юноши. В течение двух муссонов они странствовали, как Одиссей. Миф повествует, что они дважды объехали Малаиту и добрались до Уги и Сан-Кристобаля.

После успешных боев они похищали женщин, и, наконец, обремененный женщинами и потомством, Сомо обосновался на берегу большого острова, оттеснил лесных жителей и основал приморскую крепость Сомо. С фронта, со стороны моря, эта крепость была построена как всякая морская крепость и обведена коралловыми стенами, чтобы выдерживать натиск моря и случайных врагов, а в стенах были проделаны спусковые полозья для длинных пирог. С тыла, где крепость соприкасалась с джунглями, она походила на любую деревушку. Но Сомо, родоначальник нового племени, углубил свои владения в лесах до уступов гор, а на уступах основал деревни. Только великих смельчаков, прибегавших к нему, принимал Сомо в свое племя. Хилых же и трусливых племя немедленно поедало, и невероятная повесть о многочисленных головах, украшавших их дома-пироги, превратилась в миф.

И это племя, территорию и крепость Башти унаследовал спустя много поколений. Он приумножил свое богатство и не прочь был продолжать свою умную политику. Долго и тщательно обдумывал он план, созревший в его голове. Три года назад племя Ано-Ано, жившее на много миль ниже вдоль берега, овладело судном-вербовщиком, уничтожило его и всю команду и захватило баснословное количество табака, коленкора, бус, разных других товаров, ружей и амуниции.

Расплата была ничтожна. Спустя полгода военное судно сунуло нос в лагуну, бомбардировало Ано-Ано и загнало всех обитателей его в джунгли. Десант тщетно преследовал беглецов по тропинкам джунглей. В конце концов он удовольствовался тем, что убил сорок жирных свиней и срубил сотню кокосовых пальм. Едва военное судно вышло в открытое море, как племя Ано-Ано вернулось из зарослей в свою деревню. Бомбардировка легких лесных хижин особого вреда не приносит. Поработав несколько часов, женщины привели все в порядок. Что же касается сорока убитых свиней, то все племя накинулось на туши, зажарило их под горячими камнями и устроило пиршество. Нежные верхушки кокосовых пальм также были съедены, а тысячи кокосовых орехов очищены, раздроблены, высушены на солнце и прокопчены в дыму; полученную из них копру можно было продать первому торговому судну.

Таким образом, положенное наказание превратилось в праздник и пиршество. Это произвело впечатление на бережливого и расчетливого Башти. А что принесло пользу Ано-Ано, то, по его мнению, должно было пойти и на благо Сомо. Раз таковы обычаи белых людей, которые плавают под британским флагом, убивают свиней и срубают кокосовые пальмы в отместку за пролитую кровь и захваченные головы, то Башти не видел основания, почему бы и ему не извлечь выгоды, как то сделало племя Ано-Ано. Цена, какую, возможно, придется уплатить в будущем, до нелепости не отвечала этой прямой выгоде. А помимо этого, уже больше двух лет прошло с тех пор, как в последний раз заглядывал на Соломоновы острова британский военный корабль.

Итак, Башти, захваченный новым прекрасным замыслом, кивнул головой, разрешая своему народу подняться на борт и вести торг. Очень немногие из его подданных знали, какова его

идея и что у него вообще есть какой-то замысел.

Торговля оживилась по мере того, как к борту подходили новые пироги и чернокожие мужчины и женщины заполняли палубу. Затем появились рекруты — только что пойманные молодые дикари, робкие, как лани, но повинующиеся закону родительскому и племенному. В сопровождении отцов, матерей и родственников, следовавших за ними группами, они спускались вниз в каюту «Эренджи», где становились перед лицом великого белого господина. Белый господин записывал их имена в какую-то таинственную книгу, заставляя их для утверждения трехгодичного контракта прикасаться правой рукой к перу, которым он писал, и затем уплачивал главе семьи жалованье товарами за первый год.

Старший Башти сидел поблизости и по обыкновению забирал себе львиную долю из каждого аванса. Три его старых жены смиренно сидели на корточках у его ног; одно их присутствие вселяло уверенность в Ван Хорна, который радовался такому обороту дел. Похоже было на то, что его рейс близится к концу и с Малаиты он отплывет с полным комплектом рабочих.

На палубе, где находился Боркман, всюду вертелся Джерри, обнюхивая ноги чернокожих, которых он никогда раньше не встречал. Дикая собака сошла на берег вместе с вернувшимися рабочими, а из них назад на судно пришел только один. То был Леруми. Мимо него Джерри несколько раз проходил, ощетинившись, но Леруми холодно его игнорировал, а затем спустился вниз, купил ручное зеркальце и взглядом заверил старого Башти, что все готово и можно приступить в первый благоприятный момент.

И этот момент наступил по вине Боркмана, вследствие его небрежности и неисполнения приказания капитана. Боркман не отказался от водки. Он не почуял того, что надвигалось со всех сторон. На корме, где он стоял, почти никого не было. Чернокожие обоего пола, болтая с судовой командой, толпились на шканцах и на носу. Боркман направился к мешкам с бататом, привязанным позади бизань-мачты, и достал свою бутылку. Перед тем как глотнуть, он из предосторожности оглянулся. Поблизости стояла безобидная женщина средних лет, жирная, коренастая и уродливая, и кормила двухлетнего ребенка. Конечно, с этой стороны опасаться было нечего. Кроме того, она, несомненно, была безоружна, так как на ней не было ни клочка одежды, где бы можно было спрятать оружие. У поручней, футах в десяти в сторону, стоял Леруми и сладко улыбался перед только что купленным зеркальцем.

В это зеркальце Леруми и увидел, как Боркман наклонился к мешкам с бататом, затем выпрямился и отклонил голову, присосавшись к бутылке, перевернутой дном кверху. Подняв правую руку, Леруми дал сигнал женщине, сидевшей в пироге у борта «Эренджи». Она быстро наклонилась, схватила что-то и бросила Леруми. То был томагавк с длинной рукояткой. Обух у него был сделан, как у обыкновенного каменного топора, а рукоятка туземной работы, была грубо инкрустирована перламутром и обмотана плетением из кокосовых волокон. Лезвие топора было остро, как бритва.

Томагавк бесшумно пролетел по воздуху в руку Леруми, а через секунду так же бесшумно перелетел к жирной женщине с ребенком, стоявшей позади помощника. Она обеими руками вцепилась в рукоятку, а ребенок, сидевший верхом на ее бедре, слегка отогнувшись назад, ухватился за мать ручонками.

Женщина еще медлила нанести удар, так как голова Боркмана была откинута назад и мешала перерубить позвоночный столб у затылка. Много глаз следило за надвигающейся катастрофой. Видел это и Джерри, но не понимал. Несмотря на всю свою вражду к неграм, он не мог, конечно, догадаться, что нападение совершится по воздуху. Тамби, случайно оказавшийся подле люка, увидел и потянулся за ли-энфильдским ружьем. От Леруми не ускользнуло

движение Тамби, и он свистом дал сигнал женщине.

Боркман, не сознавая, что наступила последняя секунда его жизни, как не сознавал он и первой ее секунды, опустил бутылку и поднял голову. Острое лезвие вонзилось в шею. Что ощутил или подумал Боркман — если он мог что-либо ощущать или думать — в эту вспышку секунды, когда его мозг отделялся от остального тела, — тайна, неразрешимая для всех живых. Ни один человек с перебитым спинным мозгом не произносил еще ни слова, которое бы осветило его ощущение. Тело Боркмана осело на палубу, мягко, спокойно, с той же быстротой, с какой был нанесен удар. Он не закачался, не пошатнулся. Он сел так же внезапно, как проколотый пузырь с воздухом. Бутылка выпала из его мертвой руки на мешки с бататом, а остатки ее содержимого тихонько забулькали по палубе.

Действие развивалось с такой быстротой, что Тамби выстрелил в женщину и промахнулся раньше, чем Боркман осел на палубу. Для второго выстрела времени не было, так как женщина, бросив томагавк и держа обеими руками ребенка, прыгнула к поручням и перескочила за борт, опрокинув оказавшуюся под ней пирогу.

События развернулись молниеносно. Из пирог, стоявших по обе стороны «Эренджи», хлынул сверкающий, искристый дождь томагавков с рукоятками, инкрустированными перламутром. Парни из Сомо, стоявшие на палубе, ловили их на лету, а бывшие на борту женщины на четвереньках уползали прочь с поля битвы. В тот момент, когда женщина, убившая Боркмана, прыгнула за борт, Леруми наклонился поднять брошенный ею томагавк, а Джерри, почуяв кровавую войну, вцепился в руку, тянувшуюся за томагавком. Леруми выпрямился и в протяжном вое излил свою злобу и ненависть к щенку. И в то же время он изо всех сил лягнул подскочившего к нему Джерри. Удар пришелся прямо в брюхо и поднял Джерри высоко в воздух.

А в следующую секунду, пока Джерри перелетал через колючую проволоку за борт, а с пирог передавали на судно снайдеровские ружья, Тамби, почти не прицеливаясь, выстрелил вторично. Леруми, снова потянувшийся за томагавком, не успел даже опустить ногу, лягнувшую щенка, как пуля попала ему в сердце.

Он осел на палубу и вместе с Боркманом погрузился в тишину смерти.

Джерри еще не успел коснуться воды, как слава удачного выстрела потеряла всю прелесть для Тамби. В тот самый момент, когда он нажимал спуск, делая этот выстрел, томагавк врезался в его череп, и для него навсегда померкло видение тропического мира, омываемого океаном и палимого солнцем. С такой же быстротой и почти одновременно перешли в небытие остальные люди команды, и палуба превратилась в бойню.

Голова Джерри вынырнула из воды под выстрелы снайдеровских ружей и шум смертельной битвы. Чья-то мужская рука опустилась за борт и вытащила его за загривок в пирогу. Джерри рычал и пытался укусить своего спасителя, он был не столько рассержен, сколько безумно обеспокоен судьбой шкипера. Он знал, совсем о том не думая, что на борту «Эренджи» разразилась величайшая катастрофа, какую смутно предощущает все живое, а знает только человек и называет ее «смерть». Он видел, как пал Боркман. Он слышал падение Леруми. А теперь до него доносились ружейные выстрелы, торжествующий вой и отчаянные крики.

Беспомощно барахтаясь, Джерри визжал, лаял, задыхался и кашлял, пока чернокожий не швырнул его грубо на дно пироги. Затем поднялся на ноги и сделал два прыжка: первый — на нос пироги и второй — отчаянный и безнадежный, — не думая о себе, он прыгнул к поручням «Эренджи».

Джерри не допрыгнул всего на один ярд и снова погрузился в море. Он выплыл на поверхность и отчаянно поплыл, давясь и захлебываясь соленой водой, ибо он все еще выл, визжал и лаял, охваченный тоской по шкиперу и желанием быть с ним на борту.

Но мальчик лет двенадцати, сидевший в другой пироге и видевший борьбу Джерри с первым чернокожим, обошелся с ним безо всяких церемоний; сперва он ударил его по голове веслом плашмя, а затем ребром. Мрак окутал ясный маленький мозг, охваченный любовью, и чернокожий втащил в свою пирогу слабого, неподвижного щенка.

Тем временем внизу, в каюте «Эренджи», пока Джерри, еще не коснувшись воды, летел по воздуху, отброшенный ногой Леруми, Ван Хорн в одной великой и глубокой вспышке секунды познал свою смерть. Недаром старик Башти жил дольше всех своих соплеменников и был мудрейшим из правителей со времен Сомо. Живи он в иное время и в ином месте, он мог бы стать Александром или Наполеоном. Но и теперь он удивительно хорошо проводил свою роль в своем маленьком королевстве на подветренном берегу Малаиты, мрачного острова каннибалов.

То была великолепная игра. Хладнокровный и добродушный, строго соблюдая свои права вождя, Башти улыбался Ван Хорну, давал своим молодым подданным царственное разрешение записываться в трехлетнее рабство на плантациях и брал свою долю из каждого аванса за первый год. Аора, которого можно было назвать его первым министром и казначеем, принимал подати по мере их выплаты и набивал ими большие мешки, сплетенные из кокосовых волокон. За спиной Башти на койке сидела на корточках стройная тринадцатилетняя девочка с гладкой кожей и отгоняла опахалом мух от его царственной головы. У ног его сидели три старых жены; самая старшая, беззубая и частично парализованная, повинуясь его кивку, то и дело подставляла ему грубо сплетенную корзинку из пандановых листьев.

А Башти, чутко прислушиваясь к первому признаку мятежа на палубе, поминутно кивал головой и запускал руку в подставленную корзинку то за бетелем, кусочком известки и неизменным зеленым листом для обертывания жвачки; то за табаком, чтобы набить свою короткую глиняную трубку; то за спичками, чтобы разжечь трубку, которая почему-то частенько гасла.

Старуха все время подносила к нему корзинку, и, наконец, он в последний раз запустил в нее руку. Это произошло в тот момент, когда на палубе топор поразил Боркмана, а Тамби выстрелил в женщину из своего ли-энфильдского ружья. И сухая, старая рука Башти, покрытая сложной сетью вздувшихся вен, извлекла огромный пистолет — такой древний, что его с успехом мог носить один из «круглоголовых»[11] Кромвеля, либо соратник Кироса[12] и Лаперуза[13]. Это был кремневый пистолет, длиной в полруки, а зарядил его в тот день не кто иной, как сам Башти.

Ван Хорн действовал так же быстро, как и Башти, но все же недостаточно быстро. В тот самый момент, когда рука его схватилась за современный автоматический пистолет, вынутый из кобуры и лежавший у него на коленях, древний пистолет выстрелил. Заряженный двумя кусками свинца и круглой пулей, он сработал как ружье. К Ван Хорну метнулось пламя, и он познал мрак смерти раньше, чем с губ его успело сорваться: «Черт побери!» А пальцы, схватившие автоматический пистолет, разжались и уронили его на пол.

Чересчур набитый черным порохом, древний пистолет возымел еще одно действие. Он разорвался в руке Башти. Пока Аора, неведомо откуда извлекший нож, отделял голову белого господина, Башти с юмором глядел на свой указательный палец правой руки, болтавшийся на лоскутке кожи. Он схватил его левой рукой, быстро дернул, перекрутил и оторвал; затем, ухмыляясь, швырнул, как игрушку, в корзинку из пандановых листьев, которую все еще

держала перед ним одной рукой его жена, зажимая другой окровавленный лоб, пораненный осколком пистолета.

Одновременно с этим трое молодых рекрутов, сопровождаемые своими отцами и дядьями, спустились в каюту и прикончили единственного матроса судовой команды, находившегося внизу.

Башти, проживший достаточно долго, чтобы сделаться философом, мало обращал внимания на боль, а еще того меньше на потерю пальца. Он гордо чирикал и ухмылялся, довольный удачным завершением своего плана, а его три старых жены, вся жизнь которых зависела от кивка его головы, распростерлись перед ним на полу, раболепно принося свои поздравления. Долго прожили они, и этой долгой жизнью обязаны были лишь его царственной прихоти. Они кривлялись, барахтались и лопотали у ног господина их жизни и смерти, доказавшего на этот раз, как и всегда, свою бесконечную мудрость.

А тощая, пораженная ужасом девушка, стоя на четвереньках, выглядывала из лазарета, как испуганный кролик из своей норы, и, взирая на эту сцену, понимала, что близок кухонный котел и конец жизни.

Глава двенадцатая

Джерри никогда не узнал, что произошло на борту «Эренджи». Знал он только, что судно погибло, так как видел его гибель. Мальчик, оглушивший его веслом, крепко связал ему лапы, выбросил на берег и позабыл о нем, увлеченный ограблением «Эренджи».

С громкими криками и песнями красивую яхту из тикового дерева длинные пироги подтянули к берегу, как раз к тому месту, где у подножия коралловых стен лежал Джерри. Костры пылали на берегу; на борту зажгли фонари, и среди великого ликования ограбили и ободрали «Эренджи». На берег снесли все, что можно было захватить, начиная с железных болванок, служивших балластом, и кончая бегучим такелажем и парусами. В ту ночь в Сомо не спал ни один человек. Даже самые крохотные ребятишки топтались вокруг пиршественных костров или, сытые по горло, валялись врастяжку на песке. В два часа ночи, по приказанию Башти, корпус судна был подожжен. И Джерри, томясь от жажды, уже не имея сил визжать, беспомощно лежал со связанными ногами на боку и видел, как был охвачен огнем и дымом тот плавучий мир, который он так недавно узнал.

При свете горевшего судна старый Башти разделил добычу. Никто из всего племени не был обойден. Даже жалкие рабы, бывшие жители лесов, все время своего рабства трепетавшие от страха быть съеденными, получили по глиняной трубке и по нескольку пачек табаку. Большую часть товаров, не подлежащих дележу, Башти отправил в свой большой травяной дом. Вся оснастка и богатое оборудование кеча было сложено в нескольких сараях для пирог. А в дьявольских домах колдуны принялись за работу, высушивая многочисленные головы над тлеющими кострами; а голов было много, так как на борту «Эренджи», помимо судовой команды, находилась дюжина рабочих из Поола и несколько парней из Малу, которых Ван Хорн еще не доставил на родину.

Однако не все они были убиты. Башти категорически воспретил поголовное избиение. Но руководствовался он при этом не гуманностью, а тонким расчетом. Обречены они были все, но Башти никогда не видел льда, не знал о его существовании и не был знаком с холодильниками. Он знал лишь один способ сохранить мясо свежим, а именно — хранить его живым. И пленники были сложены в самом большом сарае для пирог, где помещался «мужской дом»[14] и куда под страхом мучительной смерти не смела войти ни одна женщина.

Связанных, как кур или свиней, их свалили на утрамбованный земляной пол, под которым на незначительной глубине лежали останки древнейших вождей, а над головой, обернутые в травяные циновки, висели предшественники Башти, включая и его отца.

Сюда же принесли из лазарета и тощую маленькую негритянку, так как она была предназначена для съедения, а табу не распространялось на приговоренных к кухонному котлу. Ее бросили связанной на пол среди чернокожих, которые, бывало, так насмехались над ней и дразнили, уверяя, что Ван Хорн откармливает ее для кухонного котла.

В этот же дом принесли и Джерри и бросили его на пол. Анго, глава колдунов, наткнулся на него на берегу и, несмотря на протесты мальчика, требовавшего щенка как свою личную добычу, приказал отнести в сарай для пирог. Когда его проносили мимо пиршественных костров, он почуял, что это за пиршественные блюда. И как ни ново было для него это открытие, он ощетинился, зарычал и попробовал освободиться от пут. Когда же его бросили на пол, он снова ощетинился и зарычал на своих товарищей по несчастью, не понимая, что и они попали в беду. Так как на негров его приучили смотреть как на вечных врагов, то и теперь он считал их ответственными за несчастье, постигшее «Эренджи» и шкипера.

Ведь Джерри был только собакой, с собачьим ограниченным умом и к тому же очень молодой. Но он не долго рычал на пленников. Смутный инстинкт подсказал ему, что и они тоже несчастны. Некоторые были тяжело ранены и все время охали и стонали. Не отдавая себе в том отчета, Джерри понял, что их положение так же тягостно, как и его. А ему и в самом деле пришлось скверно. Он лежал на боку, а веревки так туго стягивали его лапы, что врезались в нежное тело и мешали кровообращению. Он изнывал от жажды и с пересохшим языком и горлом задыхался в жаре.

Жутким местом был этот дом для пирог, наполненный стонами и вздохами; трупы под полом, создания, обреченные в скором времени стать трупами, на полу; трупы, висящие в воздушных гробах, над головой. Длинные черные пироги, остроносые, напоминающие хищных чудовищ с огромными клювами, смутно вырисовывались при свете тлеющего костра, у которого сидел древний старик племени Сомо за своей нескончаемой работой — прокапчиванием дымом головы дикаря. Высохший, слепой и дряхлый, лопоча и кривляясь, как большая обезьяна, он то и дело поворачивал во все стороны голову, подвешенную в едком дыму, и горсть за горстью подбрасывал гнилую труху в тлеющий костер.

При редких вспышках тусклого костра, сквозь темные поперечные балки проглядывал конек крыши, покрытый циновкой из кокосовых волокон. Некогда эти волокна были двух цветов — черного и белого, но от дыма приняли почти однотонную грязновато-коричневую окраску. С поперечных балок на длинных крученых веревках свешивались головы врагов, захваченные во время столкновений в джунглях и морских набегов. Все помещение дышало гниением и смертью, и сам слабоумный старик, прокапчивающий в дыму символ смерти, был на краю могилы.

Перед рассветом несколько десятков чернокожих с громкими криками приволокли одну из больших военных пирог. Руками и ногами они расчистили место для пироги, расталкивая и отбрасывая в сторону связанных пленников. Они отнюдь не деликатничали с мясом, дарованным им благосклонной судьбой и мудростью Башти.

Потом они расселись вокруг, покуривая из глиняных трубок, и, чирикая и смеясь странным тонким фальцетом, стали перебирать события прошедшего дня и ночи. Время от времени то один, то другой растягивался и тут же засыпал, ничем не покрывшись, так как от рождения они привыкли спать нагими даже под палящими лучами солнца.

Когда стало рассветать, не спали только тяжело раненные или слишком туго связанные веревками да дряхлый старик, который все же был моложе Башти. Когда мальчик, оглушивший Джерри лопастью весла и предъявлявший на него свои права, прокрался в дом, старик его не услышал. И не увидел, потому что был слеп. Он продолжал, безумно хихикая и бормоча что-то, поворачивать голову, коптившуюся в дыму, и подбрасывать труху в тлеющий костер. Никто не обязан был трудиться над этим ночью, даже он, ни на что иное не способный. Но возбуждение, царившее после захвата «Эренджи», передалось и его поврежденному мозгу; смутно вспоминалась ему былая сила, и он принял участие в триумфе Сомо, занявшись копчением головы, которая являлась символом этого триумфа.

Но двенадцатилетний мальчик, прокравшийся в дом, осторожно шагал через спящих и пробивал себе дорогу среди пленных, замирая от страха. Он знал, какое табу нарушает. Он не дорос даже до того, чтобы покинуть травяной кров своего отца и спать с юношами в доме для пирог, не говоря уже о доме, где спали молодые мужчины. И теперь, вторгшись в священную обитель вполне созревших и признанных взрослыми мужчин Сомо, он знал, что рискует своей жизнью, со всеми ее смутно предощущаемыми тайнами и стремлениями.

Но он хотел во что бы то ни стало добыть Джерри, и добыл-таки его. Только тощая маленькая негритянка, предназначенная для кухонного котла, вытаращив от ужаса глаза, видела, как мальчик схватил Джерри за связанные лапы и вынес его из этой кладовой живого мяса. Героическое смелое сердечко Джерри заставило бы его огрызнуться на такое грубое обращение, если бы он не был слишком истощен: из пересохшей глотки не вырывалось ни единого звука. В каком-то полукошмаре, жалкий, беспомощный, почти без сознания, он смутно ощущал, словно между двумя страшными сновидениями, что его тащат головой вниз из дома, где пахнет смертью, проносят через затихшую деревню и несут вверх по тропинке, осененной высокими ветвистыми деревьями, лениво шелестящими под первым дыханием утреннего ветерка.

Глава тринадцатая

Как узнал впоследствии Джерри, мальчика звали Ламаи, и он нес щенка к себе домой. Незавидный был этот дом, даже среди травяных хижин каннибалов. На земляном полу, плотно утрамбованном многолетней грязью, жили отец и мать Ламаи с потомством, состоявшим из четырех младших его братьев и сестер. Тростниковая крыша, протекавшая при сильном ливне, еле держалась. Дырявые стены вообще не были защитой от дождя. Дом Лумаи, отца Ламаи, был самым жалким жилищем во всем Сомо.

Лумаи, хозяин дома и глава семьи, в отличие от большинства малаитян, был толст. И, должно быть, этой тучностью и объяснялось его добродушие и леность. Но жужжащей мухой в эту радостную беспечность врывалась его жена Ленеренго — самая сварливая женщина во всем Сомо, настолько же тощая, насколько ее супруг был шарообразен; язык у нее был столь остер, сколь сладкоречив у него; ее кипучая энергия служила противовесом его бесконечной лени; и от рождения мир казался ей пропитанным горечью, тогда как он ощущал лишь его сладость.

Мальчик обошел дом, по дороге заглянул внутрь, где его отец и мать лежали в противоположных углах, ничем не прикрытые, а посредине, на полу, свернувшись в клубок, как выводок щенят, спали его голые братья и сестры. Вокруг дома, который, по правде сказать, сильно смахивал на звериную берлогу, был рай земной. Воздух был пряный, напоенный сладким благоуханием диких ароматных растений и великолепных тропических цветов. Над головой три хлебных дерева переплетали благородные ветви. Бананы и смоковницы были отягощены гроздьями зреющих плодов. А огромные золотистые дыни-папайя, уже созревшие,

свешивались с тонкоствольных деревьев, диаметр которых не достигал и одной десятой диаметра росших на них плодов. Но Джерри самым восхитительным показалось журчание и плеск незримого ручейка, пробивающего себе путь среди мшистых камней, под прикрытием нежных и изящных папоротников. Ни одна королевская оранжерея не могла сравниться с этой дикой тропической растительностью, залитой солнцем.

Обезумевший от журчания воды, Джерри должен был выносить объятия и ласки мальчика; тот присел перед ним на корточки и, раскачиваясь взад и вперед, затянул странную, мурлыкающую песенку. А Джерри, не наделенный даром речи, не мог рассказать ему о своей невыносимой жажде.

Затем Ламаи крепко привязал его плетеной веревкой и снял путы, врезавшиеся в его лапы. От неправильного кровообращения у Джерри онемели все члены, и, кроме того, не прикасаясь к воде почти целый тропический день и всю ночь, он так ослабел, что, поднявшись на ноги, зашатался и упал, и так при каждой попытке встать шатался и падал. Тут Ламаи понял или догадался. Он схватил кокосовую плошку, прикрепленную к концу бамбуковой палки, погрузил ее в заросль папоротников и подставил Джерри, наполненную до краев драгоценной водой.

Сначала Джерри пил, лежа на боку; потом вместе с влагой жизнь влилась в его иссохшие сосуды, и вскоре он смог подняться на ноги, все еще слабый и дрожащий, и, широко расставив лапы, продолжал лакать. Мальчик весело чирикал, любуясь этим зрелищем, а Джерри, почувствовав в себе достаточно бодрости, смог заговорить на красноречивом собачьем языке. Он высунул нос из плошки и розовым языком, похожим на кусок ленты, лизнул руку Ламаи. А Ламаи, в восторге от того, что они поняли друг друга, подсунул плошку, и Джерри снова стал пить.

Он пил долго. Он пил до тех пор, пока его впавшие от зноя бока не раздулись, как шар, а в промежутках он в знак благодарности лизал черную руку Ламаи. Все шло хорошо, и так бы и продолжалось, если бы не проснулась мать Ламаи — Ленеренго. Переступив через свой черный выводок, она подняла пронзительный крик, укоряя своего первенца за то, что он привел в дом лишний рот, и тем заставит ее хлопотать по хозяйству еще больше.

Затем последовала перебранка, из которой Джерри не понял ни слова, но смысл уяснил. Ламаи был с ним и за него. Мать Ламаи была против него. Она визгливо выражала свое глубочайшее убеждение, что сын ее дурак и даже хуже дурака, так как дурак и тот посочувствует матери, обремененной трудом. Тут она стала взывать к спавшему Лумаи; тот проснулся, грязный и жирный, и забормотал ласковые слова на диалекте Сомо, уверяя, что это прекраснейший мир, что все щенки и первенцы — восхитительные создания, что сам он еще ни разу не умирал с голоду, а спокойствие и сон — прекраснейшие вещи, когда-либо выпадавшие на долю смертного; и в подтверждение сего, возвращаясь к мирному спокойствию сна, он уткнулся носом в бицепс руки, служившей ему подушкой, и сразу же захрапел.

Но Ламаи, упрямый, как пень, злобно топая ногами и прекрасно зная, что путь к отступлению открыт и он сможет удрать, если мать на него накинется, продолжал отстаивать щенка. Кончилось тем, что, многословно обрисовав ничтожество отца Ламаи, Ленеренго снова улеглась спать.

Одна идея порождает другую. Ламаи узнал, как ненасытна была жажда Джерри, и это навело его на мысль, что, быть может, Джерри в не меньшей мере голоден. Подбросив сухие ветви в тлеющие угли, оставшиеся в золе, он развел большой костер, затем навалил на него камней из ближайшей кучи; все камни были закопчены, так как не раз служили для этой цели. Потом он достал из воды ручейка плетеный мешок и вынул из него жирного лесного голубя, которого он

накануне поймал в силок. Голубя он завернул в листья и, оградив от огня камнями, засыпал сверху землей.

Когда, спустя некоторое время, он вытащил голубя и снял обуглившиеся листья, распространился такой аппетитный запах, что Джерри навострил уши и ноздри у него затрепетали. Мальчик разодрал на части дымящуюся птицу, и началось пиршество Джерри, которое продолжалось до тех пор, пока последний лоскуток мяса не был содран с кости, а кости разгрызены и проглочены. И в продолжение всего пиршества Ламаи ухаживал за Джерри, мурлыкал свою песенку, гладил и ласкал его.

Что же касается Джерри, то он, утолив голод и жажду, уже не столь сердечно отвечал на эти ласки. Он был только вежлив, и в ответ на ласку, поблескивая глазами, вилял хвостом, и, по своему обыкновению, извивался всем телом; но в этом проглядывало какое-то беспокойство, он то и дело прислушивался к отдельным звукам и страстно хотел удрать. Это не укрылось от мальчика, и перед тем, как улечься спать, он обвязал вокруг шеи Джерри веревку, а конец ее привязал к дереву.

Джерри некоторое время натягивал веревку, а потом сдался и заснул. Но ненадолго. Слишком томила его мысль о шкипере. Он знал — и в то же время не знал, — что шкипера постигло непоправимое высшее несчастье. Сначала он тихонько визжал и скулил, а затем вонзил свои острые зубы в плетеную веревку и жевал ее до тех пор, пока она не перетерлась.

Освободившись, Джерри, как голубь, возвращающийся домой, понесся стрелой прямо к берегу моря, по которому плавал «Эренджи» со шкипером. Из Сомо почти все разбрелись, а те, кто остался, спали сладким сном. Поэтому никто не досаждал Джерри, пока он пробегал по извилистым тропинкам между многочисленными домами и мимо зловещего места, где люди, высеченные из цельного куска дерева, сидели в разинутой пасти акул. Племя Сомо, со времени своего основателя Сомо, поклонялось богу-акуле и прочим океанским божествам, так же как богам лесов, болот и гор.

Свернув направо, Джерри миновал коралловую стену и выбежал на берег. Но «Эренджи» не было видно на гладкой поверхности лагуны. Повсюду валялись остатки пиршества, и Джерри почуял дым угасающих костров и запах паленого мяса. Многие из пировавших не потрудились вернуться в свои дома, растянулись на песке и спали под лучами утреннего солнца; мужчины, женщины, дети и целые семьи лежали там, где их настиг сон.

Джерри подошел к самому краю воды и сел, опустив передние лапы в воду. Сердце его разрывалось от тоски по шкиперу. Он поднял морду к небу и горестно завыл, как воют все собаки с тех пор, как пришли из диких лесов к людским кострам.

Здесь и нашел его Ламаи, прижал к своей груди, чтобы лаской утешить его горе, и отнес назад, к травяной хижине у ручья. Он предложил ему воды, но Джерри не мог больше пить. Он предложил ему свою любовь, но Джерри не мог забыть мучительную тоску по шкиперу. Наконец, раздраженный упорством щенка, мальчик забыл о своей любви, ударил Джерри по голове и привязал его так, как очень немногие белые люди когда-либо привязывали своих собак. Ведь Ламаи был своего рода гением. Он никогда не видал, чтобы так привязывали собак, но теперь, в минуту нужды, сам изобрел способ привязывать Джерри при помощи палки. Палка была из бамбука, длиной в четыре фута. Один конец он привязал к самой шее Джерри, а другой — к дереву. Джерри мог достать зубами только палку, а сухой бамбук может противостоять зубам любой собаки.

Глава четырнадцатая

Много дней Джерри, привязанный к палке, был пленником Ламаи. Это время нельзя было назвать счастливым, так как в доме Лумаи постоянно происходили ссоры и стычки. Ламаи ожесточенно сражался со своими братьями и сестрами, не давая им дразнить Джерри, и эти битвы неизменно завершались вмешательством Ленеренго, беспрестанно наделявшей колотушками все свое потомство.

После этого она по привычке начинала сводить счеты с Лумаи, который всегда кротко подавал голос за тишину и спокойствие, а по окончании спора скрывался на пару дней в дом для пирог. Тут Ленеренго была бессильна. В «мужской дом» не смела проникнуть ни одна женщина. Ленеренго не могла забыть судьбу той последней женщины, которая нарушила табу. Это случилось много лет тому назад, когда сама она была девочкой, но в ее мозгу на всю жизнь запечатлелось воспоминание о несчастной женщине. В первый день она висела, подвешенная за одну руку, под палящими лучами солнца; на второй день ее подвесили за другую руку. После этого она была съедена членами «мужского дома», и еще долго-долго спустя все жены были необычайно кротки со своими мужьями.

Джерри чувствовал привязанность к Ламаи, но не было в этом ни силы, ни страсти. Это чувство проистекало скорее из благодарности, так как один Ламаи заботился о том, чтобы он получал пищу и питье. Джерри не мог относиться к мальчику так, как относился к шкиперу и мистеру Хаггину или даже к Дерби и Бобу. Ламаи был низшим человеческим существом — негром, а Джерри в течение всей его недолгой жизни внушали закон, гласивший, что белые люди — высшие двуногие боги.

Однако он не преминул заметить, что и негры наделены разумом и могуществом. Он это принял, не рассуждая. У них была власть над другими предметами, они могли метать палки и камни и даже сумели превратить его в пленника, привязав к палке, делавшей его беспомощным. Все же они были своего рода богами, хотя, быть может, и ниже белых богов.

Первый раз в жизни Джерри был на привязи, и ему это не понравилось. Тщетно портил он себе зубы, начавшие уже расшатываться под давлением вторых зубов, росших на смену. Палку он так и не мог осилить. Хотя шкипера он не забыл, но горечь утраты с течением времени потеряла свою остроту, и наконец над всеми его мыслями восторжествовало желание быть свободным.

Но, когда настал день освобождения Джерри, он не воспользовался этим и не удрал к берегу. Случилось так, что освободила его Ленеренго. Сделала она это умышленно, желая от него избавиться. Но, когда она его отвязала, Джерри задержался и в знак благодарности повилял ей хвостом, улыбаясь своими светло-карими глазами. Она топнула ногой и сердито закричала, чтобы его прогнать. Этого Джерри не понял; а так как страха он не знал, то его нельзя было спугнуть и заставить удрать. Он перестал вилять хвостом и продолжал на нее глядеть, но его глаза уже не улыбались. Ее поведение он счел недружелюбным и сейчас же насторожился, приготовившись к дальнейшим враждебным действиям с ее стороны.

Она снова крикнула и топнула ногой. Это только заставило Джерри сосредоточить свое внимание на ее ногах. Тут она окончательно разозлилась и попыталась ударить его ногой; а Джерри, уклонившись от удара, куснул ее за лодыжку.

Немедленно разгорелась война, и весьма вероятно, что Ленеренго в бешенстве убила бы Джерри, не появись на сцене Ламаи. Увидев палку, отвязанную от шеи Джерри, он понял, в чем дело, и, рассвирепев, прыгнул между сражающимися и отразил удар, нанесенный

каменным пестиком, который легко мог размозжить голову Джерри.

Теперь серьезной опасности подвергался Ламаи. Но, когда мать свалила его на землю ударом кулака по голове, бедный Лумаи проснулся, разбуженный суматохой и попытался восстановить мир. Ленеренго, по обыкновению, забыла все на свете, с наслаждением отдавшись препирательствам со своим супругом.

Дело закончилось довольно безобидно: дети перестали реветь, Ламаи снова привязал Джерри к палке. Ленеренго договорилась до одышки, а оскорбленный в своих чувствах Лумаи удалился в «мужской дом», где мужчины могли почивать в мире и где им не докучали никакие женщины.

В тот вечер, в кругу своих товарищей, Лумаи рассказал о своих злоключениях и поведал причину их, заключавшуюся в щенке, прибывшем с «Эренджи». Случилось так, что рассказ его услыхал Агно, главный колдун, или верховный жрец, а услыхав, вспомнил, как он отправил Джерри в дом для пирог вместе с остальными пленниками. Полчаса спустя он уже допрашивал Ламаи. Вне всякого сомнения, мальчик нарушил табу, что Агно и сообщил ему конфиденциально. Тут Ламаи задрожал, заплакал и униженно припал к его ногам, так как наказанием за это была смерть.

Агно представился удобный случай получить власть над мальчиком. И он этот случай упустить не захотел. От убитого мальчика нечего ждать пользы, но мальчик живой, чью жизнь он держал в своих руках, мог сослужить ему хорошую службу. О нарушенном табу никто, кроме него, не знал; следовательно, он мог сохранить это в тайне. Итак, он приказал Ламаи отныне жить в доме для пирог, отведенном юношам; здесь должно было начаться его ученичество; и пройдя длинный ряд испытаний и церемоний, он мог вступить в «мужской дом» и стать признанным мужчиной.

Утром, повинуясь приказанию колдуна, Ленеренго связала ноги Джерри; дело не обошлось без борьбы, во время которой порядком пострадала его голова, а у нее руки покрылись царапинами. Затем она понесла его вниз через деревню, чтобы сдать Агно. Дойдя до открытой площадки в центре деревни, где стояли тотемы, она положила его на землю, а сама приняла участие в народном увеселении.

Старый Башти был не только суровым, но и мудрым законодателем. Этот день он предназначил для того, чтобы наложить наказание на двух сварливых женщин, проучить всех остальных женщин и дать возможность подданным еще раз оценить достоинства своего правителя. Тиха и Вивау, коренастые, толстые молодые женщины, давно уже были посмешищем всей деревни из-за своих нескончаемых ссор. Башти повелел им участвовать в беге. Но что это был за бег! Можно было лопнуть со смеху. Мужчины, женщины и дети, взирая на эту сцену, выли от восторга. Даже пожилые матроны и седобородые старцы, одной ногой стоявшие в могиле, радостно визжали.

Путь в полмили лежал через всю деревню, от того места, где был сожжен «Эренджи», и до другого конца коралловой стены. Тиха и Вивау должны были пробежать туда и обратно, причем поочередно одна должна подгонять другую.

Только Башти мог придумать подобное зрелище. Тихе дали два круглых коралловых камня весом в добрых сорок фунтов каждый. Она вынуждена была плотно прижимать их к бокам, чтобы они не покатились на землю. За ней Башти поставил Вивау, которая была вооружена легким и длинным бамбуковым шестом, утыканным на одном конце щетиной из бамбуковых щепок. Щепки были остры, как иглы, — ими и пользовались как иглами при татуировке. Этим шестом, усаженным иглами, Вивау должна подгонять Тиху так же, как люди бодилом

подгоняют волов. Серьезных повреждений причинить было нельзя, а лишь сильную боль, но этого-то именно и добивался Башти.

Вивау колола бодилом, а Тиха спотыкалась и шаталась, пытаясь развить скорость. Когда они добегут до дальнего берега, положение переменится — Вивау будет нести камни, а Тиха — колоть бодилом. Вивау знала, что Тиха постарается вернуть ей с процентами полученные уколы, а потому изощрялась, насколько позволяли ей силы. Пот каплями стекал по лицу обеих. У каждой в толпе были свои сторонники, встречающие каждый укол ободрением либо насмешками.

Как ни смехотворно было это наказание, но за ним лежал железный закон дикарей. Камни нужно было нести на протяжении всего пути. Та, что колола, должна была действовать быстро и рьяно. Но той, которая бежала с камнями, воспрещалось терять терпение и колотить свою мучительницу. Башти своевременно предупредил, что виновная в нарушении этих правил будет выставлена во время отлива на коралловом рифе на съедение акулам.

Когда состязающиеся поравнялись с Башти и его первым министром Аорой, они удвоили свои усилия. Вивау колола с энтузиазмом, Тиха при каждом уколе подпрыгивала, подвергаясь опасности уронить камни. За ними по пятам, улюлюкая и визжа, неслись деревенские ребята и собаки.

— Долго тебе не придется сидеть в пироге, Тиха! — крикнул Аора жертве, а Башти снова разразился кудахтающим смехом.

Получив особенно чувствительный укол, Тиха уронила камень и была основательно исколота, пока опускалась на колени и подбирала его одной рукой. Поднявшись на ноги, она заковыляла дальше.

Один раз, возмущенная невыносимой болью, она решительно остановилась и обратилась к своей мучительнице.

— Мой много-много сердит на тебя! — крикнула она Вивау. — Подожди, скоро…

Но она так и не закончила своей угрозы. Новый укол заставил ее рысцой пуститься вперед.

Крик ребятишек стал затихать, когда эта пара приблизилась к берегу, но вскоре опять усилился. Женщины возвращались. На этот раз Вивау пыхтела под тяжестью коралловых камней, а Тиха, озлобленная перенесенными страданиями, старалась расквитаться с лихвой.

Поравнявшись с Башти, Вивау уронила один из камней, стараясь поднять его, выронила и другой, который откатился на двенадцать футов в сторону от первого. Тут Тиха превратилась в мстительную фурию. И весь Сомо обезумел. Башти хохотал, держась за тощие бока, а слезы сбегали по его морщинистым щекам.

А когда все было кончено, Башти обратился к своему народу:

— Так будут драться все женщины, которые любят ссоры.

Но сказал он это не совсем так и не на языке Сомо, а на морском жаргоне. Вот как сложилась у него фраза:

— Всякая женщина любит сражаться — всякая женщина в Сомо будет сражаться так.

Глава пятнадцатая

По окончании бега Башти завел разговор со своими старшинами, среди которых был и Агно; а Ленеренго, в свою очередь, заболталась со старыми кумушками. Джерри лежал на боку там, где она его забыла, когда к нему подошла дикая собака, которую он выслеживал на борту «Эренджи». Сначала она издали потянула носом, готовая в любой момент обратиться в бегство, затем осторожно подошла ближе, Джерри горящими глазами следил за ней. Как только дикая собака ткнулась в него носом, он предостерегающе зарычал. Та отскочила назад, повернулась и стремительно отлетела на пару десятков шагов, пока не убедилась, что ее не преследуют.

Тогда она осторожно вернулась назад, крадучись, словно выслеживая дичь, так низко припадая к земле, что почти касалась ее брюхом. Лапы она переставляла с гибкой мягкостью кошки и время от времени озиралась по сторонам, словно опасалась атаки с фланга. Громкий взрыв хохота мальчишек, донесшийся издали, заставил ее съежиться, впиться когтями в землю и напрячь все мускулы для прыжка, хотя она и не знала, угрожает ли ей опасность и с какой стороны. Затем она как будто убедилась, что вреда этот шум не причинит, и снова стала крадучись подбираться к ирландскому терьеру.

Неизвестно, чем кончилось бы дело, ибо в этот момент взгляд Башти случайно упал на золотистого щенка — впервые со дня гибели «Эренджи». Захваченный событиями, Башти забыл о щенке.

— Это что за собака? — крикнул он резко, заставив дикого пса припасть к земле. Крик привлек внимание Ленеренго.

Она в страхе распростерлась у ног грозного старого вождя и дрожащим голосом рассказала, как обстоит дело. Ее никудышный мальчишка Ламаи вытащил собаку из воды. В доме собака послужила причиной многих ссор. Но теперь Ламаи переселился к юношам, а собаку она несет в дом Агно, повинуясь приказанию самого Агно.

— Зачем тебе собака? — обратился Башти непосредственно к Агно.

— Я ее кай-кай, — последовал ответ. — Жирная собака. Хорошую жирную собаку хорошо кай-кай.

Проницательному старому Башти явилась мысль, давно уже зревшая в его мозгу.

— Хорошая собака, — заявил он. — Ты съешь лесную собаку, — посоветовал он, показывая на дикого пса.

Агно покачал головой.

— Лесную собаку невкусно кай-кай.

— Лесная собака — собака не такая хорошая, — вынес свое суждение Башти. — Лесная собака слишком труслива. Все лесные собаки трусливы. Собака белого господина ничего не боится. Лесная собака не дерется. Собака белого господина дерется, как черт. Лесная собака удирает, как черт. Смотри и увидишь!

Башти подошел к Джерри и перерезал веревки, стягивавшие ему ноги. А Джерри моментально вскочил и впопыхах не стал тратить время на изъявление благодарности. Он кинулся к дикой

собаке, настиг ее на лету и несколько раз перекувырнул в облаке пыли. Всякий раз, когда дикая собака пыталась удрать, Джерри ее настигал, перевертывал и кусал, а Башти надрывался от хохота и лопотал своим старшинам, призывая их смотреть на подвиг Джерри.

А Джерри превратился в маленького взбесившегося чертенка. Воспламененный воспоминаниями обо всех нанесенных ему обидах, начиная с кровавого дня на «Эренджи» и потери шкипера и кончая последней обидой — связанными ногами, он вымещал все на дикой собаке. Собственник дикой собаки — чернокожий, вернувшийся с плантации, по недомыслию, попробовал отогнать Джерри. Тот моментально на него набросился, царапнул ему зубами икры и, попав между ног чернокожего, повалил его на землю.

— Как звать? — в бешенстве крикнул Башти обидчику, который, пораженный ужасом, лежал там, где упал, и в страхе ждал, какие еще слова сорвутся с уст его вождя.

Но Башти уже валился от хохота, глядя, как дикий пес улепетывает во всю прыть вниз по улице, а Джерри, вздымая пыль, несется за ним на расстоянии сотни шагов.

Когда собаки скрылись из виду, Башти изложил свою мысль. Если люди сажают банановые деревья, они получают бананы. Если они посадят батат, — вырастет батат, не сладкий картофель или смоковницы, а батат — и только батат. Так же обстоит дело с собаками. Если все собаки чернокожих трусливы, то и все потомство этих собак будет трусливым. Собаки белых людей — смелые бойцы. Размножаясь, они дают смелых бойцов. Отлично, а вывод отсюда таков: в их руках собака белого человека, — было бы очень глупо съесть ее и тем уничтожить обитающую в ней храбрость. Мудрость требует считать ее племенной собакой и сохранить ей жизнь, чтобы в грядущих поколениях собак Сомо храбрость ее повторялась снова и снова до тех пор, пока все собаки Сомо не станут сильными и храбрыми.

Затем Башти приказал главному колдуну взять на себя заботу о Джерри и хорошенько за ним смотреть. Затем он повелел уведомить все племя, что Джерри — табу. Ни один мужчина, женщина или ребенок не может бросить в него копьем или камнем, бить его дубинкой или томагавком и причинять ему какой-либо вред.

С этого дня и до тех пор, пока Джерри сам не нарушил одного из величайших табу, для него наступила счастливая пора в мрачной травяной хижине Агно, ибо Башти, в отличие от большинства вождей, железной рукой управлял своими колдунами. Другие вожди, даже Нау-Хау из Ланга-Ланга, повиновались колдунам. Потому-то население Сомо считало, что и Башти находился в таком же положении. Но народ в Сомо не знал, что происходило за кулисами, когда Башти, подлинный безбожник, разговаривал один на один со своими колдунами.

В этих частных беседах он заявил, что знает их игру не хуже, чем они сами, и отнюдь не является рабом темных суеверий и грубых обманов, с помощью коих они держат народ в повиновении. Затем он выдвинул теорию, такую же древнюю, как сами жрецы и правители, что для правильного управления народом и те и другие должны работать совместно. Пусть народ верит, что богам и жрецам — глашатаям богов — принадлежит последнее слово; но он заставит-де жрецов признать последнее слово за ним — Башти. И в конце концов он заявил им, что как ни мало верят они в свои собственные плутни, — он верит в них еще меньше.

Он знал табу и истину, скрывавшуюся за табу. Он объяснял свои личные табу и их происхождение. Агно он объявил, что никогда он — Башти — не должен есть моллюсков. Так решил он сам, ибо моллюски ему не нравились. Старый Нино, верховный жрец, предшественник Агно, вняв гласу бога-акулы, наложил на него это табу. Но в действительности верховный жрец исполнял тайное повеление Башти.

Кроме того, все жрецы были его ставленниками, ибо он жил дольше самого старейшего из них. Он знал их всех, всех возвел в этот сан, сделал тем, чем они были, и они зависели от его милостей. И жрецы должны были принимать его программу, как делали это всегда; иначе их постиг бы быстрый и неожиданный конец. Ему следовало лишь напомнить им о кончине Кори, колдуна, который считал себя сильнее своего вождя и по собственной вине вопил от боли целую неделю, пока не затих навсегда.

В большом травяном доме Агно было мало света и много таинственности, но для Джерри тайн не существовало; он или знал вещи, или их не знал и никогда не беспокоился о том, чего не знал. Засушенные головы и прочие прокопченные и заплесневелые части человеческих трупов производили на него не больше впечатления, чем засушенные аллигаторы и рыбы, украшавшие мрачное жилище Агно.

Джерри нашел здесь хороший уход. В доме шамана не толпились ни жены, ни дети. Несколько старух, одиннадцатилетняя девочка, отмахивавшая мух, и два молодых человека, прошедшие юношеское обучение в доме для пирог и теперь, под руководством учителя, знакомившиеся со жреческим искусством, составляли домашний штат и ухаживали за Джерри. Пищу он получал самую изысканную. После Агно, съедавшего первый кусок свиньи, еда подавалась Джерри. Даже два прислужника и девочка, отмахивавшая мух, ели после него, а остатки отдавались старухам. И в отличие от обыкновенных лесных собак, которые в дождь украдкой прятались под навес, Джерри отвели сухое местечко под крышей, где с потолка свешивались сухие головы лесных жителей и забытых торговцев сандаловым деревом. Тут же висели покрытые пылью сухие внутренности акул и скелеты крыс длиною вместе с хвостом в две трети ярда.

Не раз Джерри, пользовавшийся неограниченной свободой, пробирался через всю деревню к дому Ламаи. Но он так и не нашел Ламаи, который со времени потери шкипера был единственным человеком, завоевавшим симпатии Джерри. Открыто Джерри не показывался ни разу, прячась в густом папоротнике на берегу ручья, он следил за домом и принюхивался к его обитателям. Но запах Ламаи уловить он не мог и спустя некоторое время отказался от своих посещений и признал дом колдуна своим домом, а самого колдуна — своим господином.

Но никакой любви к этому господину он не питал. Агно, столько лет в страхе державший свой таинственный дом, любви не знал, как не знал он и привязанности и жизнерадостности. Юмора он не понимал и был холодно бесчувствен, как ледяная сосулька. По могуществу он занимал второе место, уступая первое Башти, и вся его жизнь была омрачена сознанием, что не он первый. К Джерри он никаких чувств не питал, но, опасаясь Башти, боялся обидеть Джерри.

Проходили месяцы, и у Джерри появились крепкие, массивные вторые зубы. Он вырос и прибавился в весе. Он был избалован, насколько может избаловаться собака. Под защитой табу он быстро научился властвовать над населением Сомо и во всем поступать по-своему. Никто не смел останавливать его палкой или камнем. Агно его ненавидел, он это знал; пронюхал он и то, что Агно его боится и не посмеет тронуть. Но Агно был хладнокровным философом и выжидал; в отличие от Джерри он обладал человеческой способностью предвидения и умел сообразовать свои действия с достижением определенной цели в будущем.

Джерри бродил по всем владениям Башти, от пограничных лесных деревень до края лагуны, в воды которой он никогда не рисковал спуститься, помня крокодилов и табу, усвоенное им еще в Мериндже. Все перед ним расступались. Все кормили его, когда он требовал пищи. Ибо табу лежало на нем, и он мог, не встречая противоречий, вторгаться на их циновки для спанья или совать нос в плошки с едой. Он мог драться, сколько ему было угодно, держаться заносчиво, нарушая всякие правила приличия, и никто не смел ему прекословить. Башти повелел даже,

чтобы в случае нападения на Джерри взрослых лесных собак народ Сомо принимал его сторону, а лесных собак прогонял камнями и палками. Таким образом, его собственные четвероногие двоюродные братья на горьком опыте узнали, что на нем лежит табу.

И Джерри благоденствовал. Он легко мог разжиреть до отупения, если бы не его неутомимое любопытство и хорошо развитые нервы. Пользуясь свободой во всем Сомо, он вечно его исследовал, изучая границы и межи, знакомился с обычаями диких существ, обитавших в лесах и на болотах и не признававших лежавшего на Джерри табу.

Много случалось с ним приключений. Он выдержал две битвы с лесными крысами, почти не уступавшими ему по величине. Эти дикие крысы, попав в безвыходное положение, сражались так, как никто и никогда еще с ним не сражался. Первую он убил, не зная, что то была старая и слабая крыса. Вторая, в расцвете сил, так его проучила, что он, больной и обессилевший, приполз в дом колдуна, где и пролежал неделю под сухими эмблемами смерти, зализывая свои раны и медленно возвращаясь к жизни и здоровью.

Он крался к дюгоню и радовался, обращая в бегство это глуповатое, робкое животное неожиданным яростным нападением; хотя он прекрасно знал, что из таких нападений толку не выйдет, но его подзадоривала и веселила удавшаяся шутка. Он выгонял тропических уток из их хитро упрятанных гнезд, осторожно бродил среди вылезших подремать на берег крокодилов, пробирался под сводами джунглей и выслеживал белоснежных дерзких какаду, свирепых морских орлов, тяжелокрылых сарычей, райских попугаев, и зимородков, и болтливых мелких попугаев.

За пределами Сомо он трижды встретил маленьких черных лесных жителей, которые больше походили на призраков, чем на людей: так бесшумно и незаметно они двигались; они охраняли кабаньи тропы в джунглях и во время этих достопамятных встреч трижды бросали в него копьем. И лесные крысы и эти двуногие существа, скрывавшиеся в сумерках джунглей, научили Джерри осторожности. Он не ввязывался с ними в драку, хотя они и пытались пронзить его копьем. Он быстро усвоил, что это был иной народ, не похожий на племя Сомо, и его табу для них ничего не значит. А кроме того, они были своего рода двуногими богами, посылавшими смерть, которая достигала дальше, чем простирались их руки.

По деревне Джерри бегал так же свободно, как и по джунглям. Для него не было священных мест. В дома колдунов, где мужчины и женщины в страхе и трепете припадали к земле перед лицом тайны, он входил напряженный, ощетинив шерсть, ибо здесь висели свежие головы, а его зоркий глаз и чуткое обоняние говорили ему, что эти головы некогда принадлежали тем чернокожим, каких он знавал на борту «Эренджи». В самом большом колдовском доме он наткнулся на голову Боркмана и зарычал на нее, не получив ответа; ему вспомнилась битва, какую он выдержал на палубе «Эренджи» с подвыпившим помощником.

Однажды в доме Башти Джерри случайно увидел все, что осталось на земле от шкипера. Башти жил очень долго, жил в высшей степени мудро, о многом передумал и прекрасно знал, что пережил век, положенный человеку, и жить ему осталось мало. И он интересовался всем этим — смыслом и целью жизни. Он любил мир и жизнь, где так счастливо родился, любил за установленный порядок и то положение, какое ему досталось и вознесло его над жрецами и народом. Смерти он не боялся, но его занимало, будет ли он жить снова. Он перерос глупые воззрения плутоватых колдунов и чувствовал себя очень одиноким, не умея разобраться в этой сложной проблеме.

Он жил так долго и так счастливо, что ему пришлось наблюдать, как вянут и исчезают все могучие стремления и желания. Были у него жены и дети, и он знавал острый юношеский

голод. Он видел, как его дети вырастали, превращались в мужчин и женщин, становились отцами и дедами, матерями и бабками. Но, познав женщину, любовь, отцовство и чревоугодие, он все это оставил. Пища? Вряд ли понимал он ее смысл, так мало он теперь ел. Голод, впивавшийся в него, как шпоры, когда он был молод и здоров, давно уже перестал терзать и возбуждать его. Он ел из чувства необходимости и долга и мало заботился о том, что ест, за одним только исключением: он любил яйца мегаподов; каждый сезон эти птицы неслись на особом птичьем дворе, который являлся частной собственностью Башти и охранялся строжайшими табу. Вот все, что осталось от чувственных вожделений Башти. Во всем же остальном его жизнь сводилась к работе мысли: он правил своим народом и выискивал новые данные, откуда можно вывести законы, какие сделают народ сильнее и закрепят его власть над жизнью.

Но Башти отчетливо улавливал разницу между абстрактным понятием «племя» и конкретнейшим из понятий — «индивид». Племя остается. Члены его исчезают. Племя является восприемником привычек и истории всех предшествующих членов, а оставшиеся в живых сохраняют эти привычки, пока сами не станут историей и воспоминанием в том неосязаемом целом, каковым является племя. И он, как член племени, рано или поздно, — а «поздно» было уже совсем близко, — должен уйти. Но куда уйти? Вот где возникало затруднение. И случилось так, что однажды он велел удалиться всем из его большого травяного дома и, оставшись наедине со своей проблемой, снял с балок под крышей завернутые в циновки головы людей, которых он знал некогда живыми, — людей, ушедших в таинственное «ничто» смерти.

Не как скупец собирал он эти головы и не как скупец, пересчитывающий свои тайные сокровища, всматривался в них, держа в своих руках или положив к себе на колени. Он хотел знать. Хотел знать то, что, казалось ему, могли знать они, давно ушедшие во тьму, окутывавшую конец жизни.

Разнообразны были головы, какие держал в своих руках и на коленях Башти, вопрошая их в полумраке травяного дома; а над головой солнце бросало вниз палящие лучи, юго-восточный ветер вздыхал в листве пальм и в ветвях хлебных деревьев. Была здесь голова одного японца — единственная, какую ему довелось увидеть. Она была снята его отцом до рождения Башти. Плохо прокопченная, она местами прогнила от времени. И все же он изучал ее черты и решил, что когда-то были у нее губы, такие же подвижные, как и его собственные, был и рот, звучный и алчный, каким когда-то был и его рот. Были и глаза, и нос, и волосы, и уши такие же, как у него. Некогда голове принадлежали две ноги и туловище, и знала она желания и вожделения. И он решил, что ведомы ей были вспышки гнева и любви в те времена, когда она еще и не помышляла о смерти.

Сильно занимала Башти одна голова, история которой относилась еще к временам, предшествовавшим его отцу и деду; то была голова француза, хотя Башти этого и не знал. Не знал он и того, что эта голова принадлежала Лаперузу, знаменитому мореплавателю, который сложил свои кости, кости своей команды и останки своих двух фрегатов «Астролябия» и «Буссоль» на берегах каннибальских Соломоновых островов. Другая голова — а Башти был завзятым коллекционером голов — относилась к эпохе за два столетия до Лаперуза — к эпохе испанца Альварро де Мендана[15]. Она принадлежала его оруженосцу и во время берегового столкновения была захвачена одним из отдаленных предков Башти.

Была еще одна голова с неясным прошлым — голова белой женщины. Никто не знал, кому принадлежала эта голова, — жене или спутнице мореплавателя. Но в высохших ушах до сих пор висели золотые с изумрудом серьги, а волосы, в четыре фута длины, — мерцающий шелком золотистый ручей, — струились с черепа, скрывавшего то, что было некогда ее разумом и

волей и побуждало ее, как рассуждал Башти, в былые времена трепетать от любви в объятиях мужчины.

Обыкновенные головы лесных и приморских жителей и даже белых, опьянявшихся водкой, вроде Боркмана, Башти отдавал в дома для пирог и жилища колдунов, ибо он был знаток своего дела. Имелась у него одна странная голова немца, сильно его интриговавшая. То была рыжебородая и рыжеволосая голова, но даже высохшие мертвые черты говорили о железной воле, а массивный лоб нашептывал Башти о власти тайн, недоступных его пониманию. Не знал он, что некогда это была голова немецкого профессора, астронома — голова, когда-то вмещавшая в себе глубокое знание звезд в беспредельном небе, морских путей, по каким идут ведомые звездами корабли, и путей земли по ее звездной орбите в пространстве, превышающем в мириады миллионов раз то пространство, какое мог постичь Башти.

Самой последней и более всего раздражавшей мысль Башти была голова Ван Хорна. Ее-то он и держал на своих коленях и созерцал, когда Джерри, пользовавшийся неограниченной свободой в Сомо, вбежал в травяной дом Башти, почуял и узнал смертные останки шкипера и горестно завыл над ним, а затем в бешенстве ощетинился.

Башти сначала его не заметил, так как весь ушел в созерцание головы Ван Хорна. Всего несколько месяцев назад эта голова была жива, размышлял он, разум оживлял ее, она была прикреплена к двуногому туловищу, которое держалось прямо и расхаживало в набедренной повязке и с автоматическим пистолетом у пояса; и потому эта голова была могущественнее Башти, но разумом слабее его, ибо разве не он, Башти, вооруженный старинным пистолетом, погрузил во мрак этот череп, где раньше таился разум? И разве не он, Башти, отделил череп от ослабевшего остова из плоти и костей, на котором держалась эта голова, чтобы двигаться по земле и по палубе «Эренджи»?

Что же сталось с этим разумом? Один ли только этот разум и был в надменном, вспыльчивом Ван Хорне, и исчез ли он, как исчезает мигающее пламя лучины, когда она сгорает до конца и превращается в пылеобразную золу? Все ли, составлявшее Ван Хорна, исчезло, как пламя лучины? Ушел ли он навсегда во тьму, куда уходит зверь, куда уходит пронзенный копьем крокодил, пойманная на крючок макрель, захваченный неводом голавль и убитая свинья, жирная и пригодная для еды? И та же ли тьма поглотила Ван Хорна, какая поглощает отливающую металлом синеватую муху, которую его девочка с опахалом давит и уничтожает на лету? Та ли это тьма, какая поглощает москита, знающего тайну полета и, несмотря на свое умение летать, погибающего от руки его, Башти, когда он, почувствовав укус на шее, почти бессознательно расплющивает его ладонью.

Башти знал: что было истиной для головы этого белого человека, еще совсем недавно живой и властной, то истина и для него, Башти. Что случилось с этим белым человеком за темными вратами смерти, то случится и с ним. Вот почему вопрошал он голову, словно ее немые уста могли заговорить с ним из таинственного мира и объяснить ему смысл жизни и смерти, которая неизбежно побеждает жизнь.

Протяжный горестный вой Джерри, увидевшего и почуявшего все, что осталось от шкипера, пробудил Башти от его грез. Он взглянул на сильного золотисто-рыжего щенка и немедленно включил и его в свои размышления. Этот щенок живет. Он похож на человека. Он знает голод и боль, гнев и любовь. В жилах его течет кровь, как у человека, и от удара ножом она брызнет красной струей, и щенок погибнет. Подобно человеку, собака любит себе подобных, размножается и кормит грудью своих детенышей. И исчезает. Да, исчезает, ибо он, Башти, в дни своей молодости и здоровья пожрал немало собак: столько же, сколько и людей.

Но от скорби Джерри перешел к гневу. Он напряженно приближался, оскалив зубы и ощетинившись, так что волны пробегали по его спине к плечам и шее. А шагал он не к голове шкипера, на которой сосредоточилась его любовь, но к Башти, державшему эту голову на своих коленях. Как дикий волк на горных пастбищах крадется к кобыле с ее маленьким жеребенком, так крался Джерри к Башти. А Башти, который всю свою долгую жизнь не боялся смерти и смеялся, когда разорвавшийся кремневый пистолет отхватил ему указательный палец, радостно усмехался: его восхищал этот щенок, которого он бил по носу короткой палкой твердого дерева и заставлял держаться на расстоянии. Как бы свирепо ни нападал на него Джерри, каждый раз он отражал нападение палкой и громко хихикал, ценя смелость щенка, дивясь нелепости жизни, которая все время побуждала его подставлять нос под палочные удары и, подогревая страстные воспоминания об умершем, заставляла снова и снова идти навстречу боли.

«Вот и здесь — жизнь», — размышлял Башти, ловким щелчком отгоняя визжавшего щенка. Это четвероногое существо, молодое, глупое, горячее, следующее влечениям сердца, походило на любого юношу, ухаживающего в сумерках за своей возлюбленной или вступившего в смертный бой с другим юношей из-за страсти, оскорбленной гордости или несбывшейся надежды. И Башти пришел к тому заключению, что в этом живом щенке, так же как и в мертвой голове Ван Хорна или любого человека, таится объяснение бытия.

И он продолжал щелкать Джерри по носу палкой, отгоняя его от себя, и дивиться той неведомой жизненной силе, которая снова и снова заставляла щенка прыгать вперед под удары палки, причинявшей боль и вынуждавшей отступать. Он видел в этом отвагу и энергию, силу и безрассудство молодости, и грустно восхищался, и завидовал этой молодости, готовый отдать за нее всю свою седую мудрость.

«Славный пес, что и говорить, славный пес», — мог бы он повторить слова Ван Хорна. Вместо этого на морском жаргоне, который был ему так же привычен, как и родное наречие Сомо, он подумал: «Мой говорит, собака не знает трусить перед моим».

Но старику быстро надоела игра, и Башти положил ей конец, сильно ударив Джерри за ухом и лишив его сознания. При виде щенка, секунду назад такого подвижного и разъяренного, а теперь лежавшего без признаков жизни, пытливая фантазия Башти снова разыгралась. Одним-единственным сильным ударом вызвала палка эту перемену. Куда ушел гнев и разум щенка? Неужели все это лишь пламя лучины, которое гаснет от всякого случайного дуновения ветерка? Секунду назад Джерри бесновался и страдал, огрызался и прыгал, проявляя свою волю и управляя своими действиями. А через секунду он лежал безвольный и слабый, в бессознательном состоянии, напоминавшем смерть. Башти знал, что через короткий промежуток времени сознание, чувствительность, способность двигаться и воля вернутся в ослабевшее маленькое тело. Но куда же скрылись с ударом палки и сознание, и чувство, и воля?

Башти устало вздохнул и устало завернул головы в травяные циновки, служившие им чехлами, — завернул все головы, кроме головы Ван Хорна. И подвесил их к балкам крыши; там они будут висеть много лет после того, как он умрет и уйдет из жизни, так же точно, как висели они задолго до его отца и деда. Голову Ван Хорна он положил на пол, а сам вышел и стал смотреть в щелку, что будет делать дальше щенок.

Джерри сначала вздрогнул, а через минуту с трудом поднялся на ноги и стоял, покачиваясь. И Башти, припав к щели, видел, как жизнь снова потекла по сосудам инертного тела, напрягла ноги, давая им силу двигаться; видел он, как сознание — эта тайна из тайн — вернулось в костяную коробку, покрытую шерстью, загорелось в открывшихся глазах, заставило оскалить

зубы и издать рычание, прерванное в тот момент, когда удар палки опрокинул щенка во тьму.

И еще кое-что увидел Башти. Сначала Джерри огляделся, разыскивая врага, рыча и ощетинивая шерсть на шее. Затем вместо врага он увидел голову шкипера, подполз к ней и стал ласкать, целуя языком твердые щеки; сомкнутые веки, не поднимавшиеся от его ласки; губы, которые никогда не выговорят ни одного из тех любовных слов, какими, бывало, ласкали собаку.

И в глубокой тоске уселся Джерри перед головой шкипера, поднял морду к высокому коньку крыши и завыл горестно и протяжно. Наконец, измученный и подавленный, он выполз из дома и ушел в жилище своего колдуна, где в течение двадцати четырех часов бодрствовал, и спал, и видел кошмары.

С тех пор Джерри до конца своего пребывания в Сомо боялся травяного дома Башти. Самого Башти он не боялся. Страх его был необъяснимый и бессознательный. В этом доме пребывало нечто, некогда бывшее шкипером. То был символ величайшей катастрофы жизни, — инстинктом, заложенным в глубинах его существа, он предчувствовал ее. На один шаг опередив Джерри, народ Сомо, созерцая смерть, достиг представления о душах умерших, продолжающих жить в нематериальных и сверхчувственных областях.

И с тех пор Джерри напряженно ненавидел Башти как владыку жизни, который хранил и держал на своих коленях н е ч т о шкипера. Об этом Джерри не рассуждал. Все это было смутно и неопределенно — ощущение, эмоция, чувство, инстинкт, интуиция — называйте любым туманным словом, из туманной номенклатуры речи, где слова обманно создают впечатление определенности и приписывают мозгу понимание, каковым мозг не обладает.

Глава шестнадцатая

Прошло еще три месяца; северо-западный муссон через полгода уступил место юго-восточному пассату, а Джерри по-прежнему жил в доме Агно и свободно бегал по всей деревне. Он вырос, прибавил в весе и под защитой табу стал самоуверенным и едва ли не высокомерным. Но никакого господина он не нашел. Агно так и не приобрел его расположения — да и не пытался его завоевать. Однако, по свойственному ему хладнокровию, он никогда не проявлял своей ненависти к Джерри.

Даже обитавшие в доме Агно старухи, два прислужника и девочка, отгонявшая мух, не подозревали, что колдун ненавидит Джерри. Не подозревал этого и сам Джерри. Для него Агно был особой нейтральной, которая в счет не шла. В остальных Джерри угадывал рабов или слуг Агно, а когда они его кормили, знал, что эта пища исходит от Агно и является пищей Агно. За исключением Джерри, защищенного табу, весь домашний штат боялся Агно, и дом его поистине был домом страха. Одиннадцатилетняя служанка могла бы завоевать расположение Джерри, если бы ее с самого же начала не остановил Агно, сделавший ей суровый выговор за то, что она дерзнула прикоснуться и приласкать собаку, на которой лежало столь священное табу.

Агно вынужден был отложить выполнение замысла, направленного против Джерри, до окончания полугодового муссона, так как на частном птичьем дворе Башти мегаподы начинали кладку яиц лишь с наступлением юго-восточного пассата. И Агно, давно уже задумавший свой план, со свойственным ему терпением выжидал удобного момента.

Мегапод Соломоновых островов приходился дальним родичем австралийскому ястребу. Он не больше крупного голубя, а его яйца такой же величины, как яйца домашних уток. Мегапод,

лишенный чувства страха, так глуп, что был бы уничтожен сотни веков назад, если бы правители и жрецы не охраняли его при помощи табу. Для мегаподов пришлось завести расчищенные песчаные участки и защитить их изгородью от собак. Мегаподы зарывают яйца в песок на глубине около двух футов, а вылупливание птенцов зависит от солнечной жары. И они продолжают разрывать песок и класть яйца, хотя бы в двух-трех шагах от них чернокожий эти яйца выкапывал.

Птичник был собственностью Башти. В течение всего сезона Башти питался почти исключительно яйцами мегаподов. В редких случаях он приказывал убивать и подавать ему на обед тех мегаподов, которые перестали нестись. Однако то была прихоть: он гордился столь исключительной диетой, возможной лишь для человека, занимающего такое высокое положение. По правде сказать, мясо мегаподов нравилось ему не больше всякого другого мяса. А всякое мясо казалось ему на вкус одинаковым, ибо его любовь к мясу отошла в область воспоминаний.

Но яйца! Вот что ему нравилось. То была единственная пища, какую он ел с удовольствием. Они напоминали ему былые вкусовые наслаждения молодости. Яйца мегаподов вызывали у него настоящий голод, и, когда он видел яйцо, приготовленное для еды, почти высохшие слюнные железы снова начинали функционировать и в желудке появлялся сок. Поэтому он один во всем Сомо ел яйца мегаподов, защищенные суровым табу от всего остального населения. А так как табу по существу своему религиозно, то священная обязанность охранять птичий двор вождя и заботиться о нем была возложена на Агно.

Но Агно был уже немолод. Острота животных вожделений давно покинула его, и он также ел из чувства долга, не разбираясь во вкусовых ощущениях. Только яйца мегаподов раздражали его аппетит и вызывали работу пищеварительных желез. Поэтому-то он и нарушал табу, наложенное им самим, и украдкой, когда ни мужчина, ни женщина, ни ребенок не могли его видеть, поедал яйца, украденные из птичника Башти.

Когда начался сезон кладки яиц и Агно и Башти, после шестимесячного воздержания, оба тосковали по лакомому блюду, Агно повел Джерри по тропинке, охраняемой табу, среди мангиферовых деревьев. Там приходилось прыгать с корня на корень над болотом, вечно испускавшим пар и зловоние.

Эта тропинка не походила на обычные тропинки и была незнакома Джерри. Здесь человеку приходилось делать большие шаги, переступая с корня на корень, а собаке — совершать такие же прыжки. Во время своих прогулок по Сомо Джерри ни разу не видел этой тропинки. Поведение Агно, взявшего его с собой, заставляло Джерри удивляться и радоваться; он смутно предчувствовал, что, может быть, Агно все же до известной степени окажется тем господином, которого непрестанно искала собачья душа Джерри.

Выйдя из топкой мангиферовой рощи, они внезапно очутились на песчаном участке, все еще пропитанном солью и неплодородном от морских наносов. Ни одно большое дерево не могло пустить здесь корни и своими ветвями защитить от палящих лучей солнца. Войти в огороженное место можно было через примитивную калитку, но Агно не повел туда Джерри. Вместо того, ободряюще чирикая и подзадоривая, он научил Джерри прорыть тоннель под грубым плетнем и сам помогал ему, обеими руками выгребая песок. И Джерри, поощряемый им, оставил на песке отпечатки лап и когтей.

А когда Джерри очутился за плетнем, Агно, войдя через калитку, соблазнил его выкапывать яйца. Но яиц Джерри не довелось отведать. Восемь штук Агно высосал сырыми, а два яйца сунул себе под мышку, чтобы отнести в свое дьявольское жилище. Скорлупу восьми

высосанных яиц он раздавил так, как могла это сделать собака, а для осуществления задуманного плана часть восьмого яйца он сохранил и обмазал им не морду Джерри, где тот мог слизнуть яйцо языком, а повыше — над глазами и вокруг глаз. Здесь следы должны были остаться и свидетельствовать против собаки.

Хуже того, он совершил величайшее святотатство, науськав Джерри на самку мегапода, несущую яйца. А пока Джерри душил ее, Агно, зная, что жажда убийства, раз пробужденная, побудит его продолжать избиение глупых птиц, опрометью бросился с птичьего двора через мангиферовое болото, чтобы представить религиозную проблему на рассмотрение Башти. Табу, охранявшее собаку, — так изложил он дело — помешало ему вмешаться, когда собака-табу поедала мегапода-табу. Какое табу выше, этого он, Агно, решить не может. А Башти, уже полгода не евший яиц мегапода и страстно хотевший освежить в памяти последнее вкусовое ощущение далекой юности, полетел через мангиферовое болото с такой быстротой, что его верховный жрец совсем запыхался, хотя и был на много лет моложе.

Когда он прибежал на птичий двор, Джерри убивал четвертую самку-мегапода; лапы и морда у него были окровавлены, а вокруг глаз и на лбу виднелся остаток сырого желтка, налепленный Агно и долженствовавший изображать много поеденных яиц. Башти тщетно разыскивал хотя бы одно целое яйцо, а шестимесячный голод — под впечатлением катастрофы — мучил сильнее, чем когда-либо. А Джерри, уверенный в ободрении и похвале Агно, завилял Башти хвостом, ожидая воздаяния за свою доблесть, и улыбнулся обагренным кровью ртом и глазами, полузалепленными яичным желтком.

Башти не бесновался, так как был не один. На глазах своего верховного жреца он не хотел унижаться до столь банальных человеческих чувств. Тот, кто занимает высокое положение, всегда обуздывает свои естественные стремления и скрывает свою банальность под маской безразличия. Потому-то и Башти не проявил раздражения при виде этой неудачи, обманувшей его аппетиты. Агно меньше владел собой, так как не мог скрыть жадный огонек, блеснувший в глазах. Башти этот огонек заметил, но, не угадав истинной причины, счел проявлением простого любопытства. Отсюда можно сделать два вывода относительно лиц, занимающих высокое положение: во-первых, они могут одурачить тех, кто ниже их, во-вторых, сами могут быть ими одурачены.

Башти саркастически поглядел на Джерри, словно усмотрел здесь шутку, и искоса бросив взгляд на своего верховного жреца, подметил в его глазах разочарование. «Ага! — подумал Башти. — Я таки его надул!»

— Какое табу выше? — осведомился Агно на языке Сомо.

— Разве нужно спрашивать? Конечно, мегапод.

— А собака? — продолжал Агно.

— Должна заплатить за нарушение табу. Это — высшее табу. Это — мое табу. Так было установлено древним праотцом и первым правителем, и с тех пор оно всегда табу вождей. Собака должна умереть.

Он замолчал и задумался, а Джерри снова стал разрывать песок, откуда поднимался знакомый запах. Агно шагнул вперед, чтобы его остановить, но Башти вмешался.

— Оставь его, — сказал он. — Пусть собака изобличит себя на моих глазах.

Джерри это и сделал, откопав два яйца, раздавив их и вылакав часть драгоценного

содержимого, которая не расплескалась по песку. Глаза Башти совсем потускнели, когда он спросил:

— Пир из собачьего мяса назначен на сегодня?

— Завтра в полдень, — ответил Агно. — Собак уже приносят. Набралось не меньше пятидесяти.

— Пятьдесят одна, — вынес свой приговор Башти, кивнув в сторону Джерри.

Жрец сделал быстрое движение, чтобы схватить Джерри.

— Зачем? — остановил его вождь. — Тебе придется тащить его по болоту. Пусть он идет назад на своих собственных ногах. А когда дойдет до дома для пирог, ты свяжи ему ноги.

Миновав болото и приблизившись к дому для пирог, Джерри, весело бежавший по пятам обоих людей, услышал жалобное завывание множества собак, несомненно, выражавшее боль и страдание. Он сейчас же подозрительно прислушался, не опасаясь, впрочем, лично за себя. И в тот самый момент, когда он, насторожив уши, нюхом доискивался причины, Башти схватил его за загривок и поднял на воздух, а Агно стал связывать ему ноги.

Ни стона, ни визга не вырвалось у Джерри, он не проявил ни малейших признаков страха, а только, задыхаясь, свирепо рычал, гневно скалил зубы и воинственно брыкался задними лапами. Но собака, схваченная за загривок, не может противостоять двум людям, одаренным человеческим рассудком и ловкостью и имеющим по две руки, а на каждой руке — по пять пальцев.

Ему связали передние и задние лапы и потащили головой вниз к месту бойни и стряпни. Там его бросили на землю — туда, где лежало еще штук двадцать собак, беспомощных и связанных. Было уже после полудня, но многие собаки лежали так — на припеке — с раннего утра. Все они были лесными или дикими собаками, и так ничтожно было их мужество, что жажда и физическая боль, вызванная веревками, слишком туго перетягивавшими артерии и вены, и смутное предчувствие судьбы, какую предвещало подобное обращение, заставляло их в отчаянии визжать и выть.

Следующие тридцать часов были скверными часами для Джерри. Немедленно разнеслась весть, что табу с него снято, и ни один мужчина и мальчишка не унизился до того, чтобы быть с ним вежливым. До ночи толпились вокруг него люди, дразнившие и мучившие его. Они зубоскалили по поводу его падения, издевались и насмехались над ним, презрительно толкали ногами, и, вырыв ямку в песке, из которой он не мог выкатиться, положили его туда на спину, так что его связанные лапы позорно болтались в воздухе.

А он мог только беспомощно рычать и бесноваться. В отличие от прочих собак он не визжал и не выл от боли. Ему был теперь год, а последние шесть месяцев помогли ему созреть; по природе же своей он был бесстрашен и выносли в. Белые господа научили его ненавидеть и презирать негров, а за эти тридцать часов он познал особенно горькую и неугасимую ненависть.

Его мучители ни перед чем не останавливались. Они привели даже дикую собаку и стали науськивать ее на Джерри. Но дикая собака не атакует врага, который не может двигаться, хотя бы врагом этим был Джерри, так часто преследовавший ее на палубе «Эренджи». Будь у Джерри сломана нога или сохрани он хоть возможность двигаться, тогда дикий пес мог загрызть его, пожалуй, до смерти. Но эта полная беспомощность останавливала пса, и, таким образом, план не удался. Когда Джерри рычал и огрызался, рычала и дикая собака, вертясь

вокруг него, но чернокожие не могли заставить ее вонзить зубы в Джерри.

Площадка перед домом для пирог превратилась в место ужаса. Сюда то и дело приносили связанных собак и бросали их на землю. В воздухе стоял непрерывный вой; особенно выли те собаки, которые с раннего утра лежали на солнцепеке без воды. Время от времени начинали выть все собаки. Этот вой, не смолкая, продолжался всю ночь, а к утру все собаки мучились невыносимой жаждой.

Солнце, поднявшееся на небе, накалявшее белый песок и чуть ли не обжигавшее собак, отнюдь не принесло облегчения. Вокруг Джерри снова образовался круг мучителей, изливавших на него оскорбительное презрение за утрату его табу. Больше всего бесили Джерри не удары и физические мучения, а смех. Ни одна собака не любит, когда над ней смеются, а Джерри тем более не мог сдержать гнева, когда они хихикали и гоготали перед самой его мордой.

Хотя он и не выл, но от рычания и жажды у него в горле пересохло и высохла слизистая оболочка рта. И только под влиянием величайших оскорблений ему удавалось издавать звуки. Он высунул язык, и утреннее солнце стало медленно жечь его.

Как раз в это время один из мальчишек жестоко его обидел. Он выкатил Джерри из ямки, где тот всю ночь пролежал на спине, перевернул его на бок и подсунул маленькую плошку, наполненную водой. Джерри с жадностью стал лакать и только через полминуты обнаружил, что мальчик выдавил в воду жгучий сок из семян спелого красного перца. Зрители взвизгнули от удовольствия, а прежнюю жажду Джерри нельзя было сравнить с этой новой жаждой, все усиливавшейся от жгучего перца.

Затем — а это было чрезвычайно важное событие — на сцену появился Наласу. То был шестидесятилетний старик, слепой и шествовавший с палкой, которой нащупывал себе тропу. Свободной рукой он нес за связанные ноги небольшую свинью.

— Говорят, собака белого господина должна быть съедена, — сказал он на языке Сомо. — Где собака белого господина? Покажите мне ее.

Как раз в это время пришел Агно и стал подле старика, который, наклонившись к Джерри, стал ощупывать его пальцами. А Джерри не стал рычать или кусаться, хотя пальцы слепого не раз приближались к его зубам. Дело в том, что Джерри не чувствовал враждебности в этих пальцах, так мягко скользивших по нему. Затем Наласу пощупал свинью и несколько раз, словно сравнивая, ощупывал то Джерри, то свинью. Наконец Наласу встал и высказал свое мнение:

— Свинья так же мала, как и собака. По величине они одинаковы, но на свинье больше для еды мяса. Берите свинью, а я возьму собаку.

— Нет, — сказал Агно. — Собака белого господина нарушила табу. Ее должны съесть. Бери другую собаку и оставь свинью. Бери большую собаку.

— Я хочу взять собаку белого господина, — упорствовал Наласу, — только собаку белого господина.

Дело не подвигалось ни на шаг, пока не подошел Башти и не остановился, прислушиваясь.

— Бери собаку, Наласу, — сказал он наконец, — у тебя хорошая свинья, и я сам ее съем.

— Но собака нарушила табу, твое великое табу, охранявшее птичий двор, и она должна пойти

на съедение, — быстро вмешался Агно.

В мозгу Башти мелькнула мысль, что Агно вмешался слишком быстро; им овладело какое-то смутное подозрение, хотя он и не знал, в чем можно заподозрить Агно.

— За нарушение табу уплата — кровь и кухонный котел, — продолжал Агно.

— Отлично, — сказал Башти. — Я съем эту свинью. Пусть перережут ей горло, и пусть ее тело опалит огонь.

— Я говорю о законе табу. За нарушение табу платят жизнью.

— Есть и другой закон, — усмехнулся Башти. — Жизнь можно купить за жизнь; так было с тех пор, как Сомо возвел эти стены.

— Только жизнь мужчины или женщины, — ограничил Агно.

— Я знаю закон, — настаивал Башти. — Сомо его создал. Никогда не было сказано, что за жизнь животного нельзя купить жизнь другого животного.

— Этого еще до сих пор не бывало у нас, — заявил колдун.

— Вполне понятно, — возразил старый вождь. — Не было еще такого дурака, который бы отдавал свинью за собаку. Это молодая свинья, жирная и нежная. Бери собаку, Наласу. Бери ее сейчас же.

Но колдун не успокаивался.

— Ты, Башти, в своей великой мудрости сказал, что это племенная собака, рассадник силы и мужества. Пусть она будет убита. Когда ее снимут с огня и разделят ее тело на маленькие кусочки, каждый отведает ее и получит свою долю силы и мужества. Лучше будет для Сомо, если люди, а не собаки станут сильными и храбрыми.

Но Башти не гневался на Джерри. Он вел жизнь философа и прожил слишком долго, чтобы винить собаку в нарушении табу, которого она не знала. Конечно, собак часто убивали за нарушение табу. Но он разрешал их убивать потому, что те собаки отнюдь его не интересовали, а их смерть подчеркивала святость табу. Джерри же сильно его интересовал. Не раз с тех пор, как Джерри атаковал его из-за головы Ван Хорна, задумывался он над этим инцидентом. Этот случай сбивал его с толку, как и все проявления жизни, и доставлял ему пищу для размышлений. Кроме того, Башти восхищался отвагой Джерри и тем, что тот не выл от боли под ударами палки. А красота форм и окраска Джерри незаметно пленяли Башти, совсем о том не думавшего. На Джерри приятно было смотреть.

Можно было и под другим углом взглянуть на поведение Башти. Он недоумевал, почему его колдун так настаивал на смерти простой собаки. Собак было много. Так зачем же убивать именно эту собаку? Несомненно, у того было что-то на уме, но что именно, Башти догадаться не мог; быть может, им двигала месть, зародившаяся в тот день, когда он воспретил Агно съесть собаку. Если такова была причина, Башти не мог терпеть подобное настроение ума у кого бы то ни было из своих соплеменников. Но каковы бы ни были мотивы, Башти, по своему обыкновению остерегаясь неизвестного, решил проучить своего жреца и еще раз показать населению Сомо, кому принадлежит последнее слово. И он ответил:

— Я жил долго и съел много свиней. Кто осмелится сказать, что эти свиньи вошли в меня и

сделали меня свиньей?

Он остановился и вызывающе окинул взглядом круг слушателей, но все молчали. Кое-кто робко ухмыльнулся, переминаясь с ноги на ногу, а на лице Агно была написана глубокая уверенность в том, что в его вожде нет ничего, напоминающего свинью.

— Я съел много рыб, — продолжал Башти, — но ни одна рыбья чешуйка не выросла на моей коже. И жабры не появились на моей шее. И вы все, глядя на меня, знаете, что никогда не вырастал у меня плавник на спине. Наласу, бери собаку. Агэ, отнеси свинью в мой дом. Я съем ее сегодня. Агно, пусть режут собак, чтобы люди получили еду вовремя.

Затем, собравшись уйти, он перешел на английский морской жаргон и сурово кинул через плечо:

— Мой говорит, мой много сердит на тебя.

Глава семнадцатая

Слепой Наласу медленно побрел прочь, держа в одной руке палку, которой нащупывал дорогу, а в другой неся вниз головой Джерри за связанные лапы.

Но в отличие от мальчика Ламаи старик не потащил Джерри прямо к себе домой. У первого же ручья, протекавшего среди низких холмов, он остановился и напоил Джерри. И Джерри забылся, с наслаждением ощущая холодную влагу на языке, во рту и в горле. Тем не менее подсознательно в нем нарастало впечатление, что этот чернокожий добрее Ламаи, добрее Агно и Башти, добрее всех, кого он встречал в Сомо.

Пил он до тех пор, пока не мог уже больше вместить ни капли, и, напившись, в благодарность лизнул Наласу — не с жаром и страстью, как лизнул бы руку шкипера, но с должной признательностью за животворный напиток. Старик усмехнулся с довольным видом, погрузил Джерри в воду и, поддерживая его голову на поверхности, разрешил ему так лежать долгие блаженные минуты.

От ручья до дома Наласу — порядочное расстояние — старик по-прежнему нес его со связанными ногами, но уже не головой вниз, а прижав одной рукой к груди. Он хотел привязать к себе собаку. Наласу, много лет одиноко просидевший во тьме, думал об окружавшем его мире гораздо больше и знал его гораздо лучше, чем если бы был зрячим. Ему была нужна собака. Он испробовал несколько лесных собак, но они мало ценили его доброту и неизменно от него удирали. Последняя оставалась дольше всех, ибо он обращался с ней с величайшей добротой, но и она убежала раньше, чем он ее натренировал. И вот он услышал, что собака белого господина иная. Она никогда не удирала от опасности и считалась умнее всех собак Сомо.

Изобретенный Ламаи способ привязывать собаку с помощью палки распространился по деревне, и теперь в доме Наласу Джерри снова очутился привязанным к палке. Но была разница. Слепой никогда не терял терпения и каждый день часами просиживал на корточках и ласкал Джерри. Однако, не делай даже он этого, Джерри, евший его хлеб и привыкший уже к перемене хозяев, готов был видеть в Наласу своего господина. Джерри прекрасно понимал, что господство Агно кончилось с той поры, как колдун связал ему ноги и бросил в кучу к остальным беспомощным собакам на убойной площадке. А Джерри, с первых дней своей жизни не остававшийся без хозяина, чувствовал настойчивую потребность в хозяине.

Настал день, когда палка была отвязана, и Джерри добровольно остался в доме Наласу. Старик, убедившись, что он не сбежит, приступил к его обучению. С каждым днем он все дольше занимался его обучением и наконец стал посвящать этому по нескольку часов в день.

Прежде всего Джерри усвоил свое новое имя — Бао и выучился отзываться на него, как бы тихо его ни называли, а Наласу окликал его все тише и тише, пока не понизил голоса до шепота. У Джерри слух был чуткий, но и Наласу благодаря длительным упражнениям слышал немногим хуже.

А затем слух Джерри был доведен до еще большей чуткости. По целым часам Джерри, сидя подле Наласу или стоя поодаль, учился улавливать еле слышные звуки и шорохи в кустарнике. Старик его обучал согласовывать рычание, каким он предостерегал Наласу, с лесными шумами. Если по шороху Джерри узнавал свинью или курицу, рычать совсем не полагалось. Если он не мог определить шум, то рычал тихо. Но если шорох производил мужчина или мальчик, старавшийся двигаться осторожно, а следовательно, внушавший подозрения, Джерри научился рычать громко; если раздавался громкий шум и человек двигался беззаботно, тогда Джерри ворчал тихонько.

Джерри никогда не приходило в голову поинтересоваться, зачем его всему этому обучали. Он учился, потому что такова была воля его нового господина. Путем длительных усилий и терпения Наласу обучил его не только этому, но еще многому другому, и словарь Джерри так разросся, что они могли издали поддерживать быстрый и вполне точный разговор.

Так, находясь на расстоянии пятидесяти шагов, Джерри тихонько рычал, сообщая, что раздался шум, которого он не знает, а Наласу различными присвистываниями приказывал ему стоять на месте, рычать тише, замолчать, бесшумно к нему приблизиться, пойти в кустарник и выяснить причину странного шороха либо с громким лаем броситься в атаку.

Иногда Наласу, заслышав в противоположной стороне незнакомый звук, спрашивал Джерри, слышал ли тот его. А Джерри, насторожившись, отвечал Наласу, меняя характер и оттенки своего рычания, что он ничего не слышал. Затем ответ становился определеннее. Джерри услышал: это чужая собака, или лесная крыса, или мужчина, или мальчик. Все это Джерри передавал еле слышно, едва ли громче дыхания, и эти звуки были односложны — подлинная стенография речи.

Странный старик был Наласу. Он жил в маленьком травяном доме на окраине деревни. Ближайший дом находился на большом расстоянии, а его собственная хижина стояла на просеке, окруженной густыми зарослями джунглей, но стена растительности нигде не подступала к дому ближе чем на шестьдесят шагов. И эту просеку Наласу постоянно очищал от быстро пробивающейся зелени. Друзей у него, по-видимому, не было. Во всяком случае, никто никогда его не навещал. Много лет прошло с тех пор, как он отвадил последнего посетителя. И родни у него не было. Жена давно умерла, а три неженатых сына потеряли головы в стычке за пределами Сомо, на лесистых холмах, и были съедены лесными жителями.

Несмотря на свою слепоту, Наласу не сидел без дела. Помощи он не просил ни у кого и сам себя поддерживал. На своей просеке он сажал батат, сладкий картофель и таро. На другой просеке — а он был против того, чтобы разводить деревья у самого дома, — у него были смоковницы, бананы и с полдюжины кокосовых пальм. Плоды и овощи он обменивал внизу, в деревне, на мясо, рыбу и табак.

Добрую часть дня он посвящал обучению Джерри, а иногда занимался изготовлением луков и стрел, которые высоко ценились его соплеменниками и находили постоянный сбыт. Почти не

проходило дня, когда бы он не попрактиковался в стрельбе из лука. Он целился только по направлению звука; и всякий раз, когда в джунглях раздавался шум и шелест и Джерри сообщал ему о характере звука, Наласу пускал стрелу. Затем в обязанности Джерри входило найти и осторожно принести назад стрелу, если она не попала в цель.

Любопытно, что Наласу спал не больше трех часов в сутки, никогда не спал ночью, а для своего короткого дневного сна всегда уходил из дому. У него было нечто похожее на гнездо в самой густой чаще соседних джунглей. Ни одна тропинка не вела к этому гнезду. Он никогда не приходил туда и не уходил одной и той же дорогой, а богатая тропическая растительность тотчас же уничтожала малейшие следы шагов. Всякий раз, когда он спал, Джерри был обучен оставаться на страже и никоим образом не засыпать.

У Наласу было достаточно оснований для таких бесконечных предосторожностей. Старший из его трех сыновей убил в ссоре некоего Ао. Ао был одним из шести братьев семьи Анно, жившей в одной из нагорных деревень. Согласно закону Сомо, семья Анно имела право взыскать кровавый долг с семьи Наласу, но им помешала смерть трех сыновей Наласу, убитых в джунглях. А так как кодекс Сомо требовал «жизнь за жизнь», а из всей семьи в живых остался один Наласу, то всему племени было известно, что Анно не успокоятся до тех пор, пока не лишат жизни слепого старика.

Наласу прославился не только как отец трех воинственных сыновей, но и как великий боец. Дважды пытались Анно свести счеты и первый раз напали, когда Наласу еще был зрячим. Наласу открыл их засаду, обошел ее и, напав с тыла, убил самого Анно, отца семьи, удвоив тем кровавый долг.

Затем его постигло несчастье. Он набивал снайдеровские патроны, уже неоднократно употреблявшиеся, когда черный порох взорвался и выжег ему оба глаза. Немного спустя, когда он еще залечивал свои раны, Анно пришли из своей деревни. Этого ждал Наласу и должным образом приготовился к встрече. В ту ночь трое из рода Анно наступили на отравленные колючки и умерли в страшных муках. Таким образом, количество жизней, отнятых у семьи Анно, возросло до пяти, а взыскивать долг можно было только с одного слепого старика.

С того дня Анно слишком боялись колючек, чтобы отважиться на новую попытку, но жажда мести не угасала, и они жили надеждой в один прекрасный день украсить головой Наласу конек своей крыши. Перемирия не было, но наступило затишье. Старик ничего не мог против них предпринять, а они опасались открыть военные действия. День мести пришел уже после появления Джерри у Наласу, когда один из Анно изобрел вещь, дотоле невиданную во всей Малаите.

Глава восемнадцатая

Месяцы шли. Кончился юго-восточный пассат, подул муссон, а Джерри повзрослел на шесть месяцев, вырос, увеличился в весе, и кости у него окрепли. То было хорошее полугодие, проведенное у слепого старика, хотя Наласу был сторонником суровой дисциплины и изо дня в день посвящал долгие часы обучению Джерри, а это не многим собакам выпадает на долю. Но Джерри не получил от него ни одного удара, не слыхал ни одного грубого слова. Этот человек, убивший четырех Анно, — причем троих из них после потери зрения, — в дни своей необузданной молодости прикончивший немало людей, никогда не повышал голоса, гневаясь на Джерри, и добивался послушания не суровыми наказаниями, а ласковой воркотней.

Это постоянное обучение, которому подвергся Джерри в период своей возмужалости, на всю жизнь укрепило и развило его умственные способности. Пожалуй, ни одна собака в мире не

обладала таким словарем, как он, а объяснялось это, во-первых, его природным умом, во-вторых, гениальной способностью Наласу к дрессировке и, наконец, долгими часами, посвящаемыми обучению.

Его стенографический словарь был на редкость богат для собаки. Пожалуй, можно сказать, что он и старик могли часами вести разговор, хотя отвлеченные темы были немногочисленны и просты; очень мало говорили они о недавнем прошлом и почти не касались ближайшего будущего. Джерри ничего не мог ему рассказать о Мериндже и «Эренджи», о великой любви, какую он питал к шкиперу, или о причине своей ненависти к Башти. И Наласу не мог рассказать Джерри о кровавой вражде с Анно или о том, как он потерял зрение.

На практике все их разговоры вертелись непосредственно вокруг настоящего момента, хотя они могли коснуться слегка и недалекого прошлого. Наласу давал Джерри ряд поручений, например: пойти одному на разведку, дойти до гнезда, описать около гнезда большой круг, двинуться оттуда на вторую просеку, где росли фруктовые деревья, пересечь джунгли до главной тропы, спуститься по ней вниз, к деревне, до большой смоковницы, а затем по маленькой тропинке вернуться к Наласу. Все эти поручения Джерри выполнял с величайшей точностью и по возвращении делал доклад в таком роде: у гнезда ничего необыкновенного, разве что поблизости появился сарыч; на просеке упали на землю три кокоса — Джерри умел безошибочно считать до пяти; между просекой и главной тропой он видел четырех свиней; на главной тропе он повстречал одну собаку, двух детей и больше пяти женщин; а на маленькой тропинке, ведущей к дому, заметил одного какаду и двух мальчиков.

Но Джерри не мог объяснить Наласу, что потребности его ума и сердца мешают ему быть вполне довольным своей жизнью. Ибо Наласу был не белым, а только черным богом. А Джерри ненавидел и презирал всех негров, за исключением Ламаи и Наласу. Их он терпел, а к Наласу чувствовал даже ровную и теплую привязанность. Любить его он не любил и не мог полюбить.

В лучшем случае они были второразрядными богами, а он не мог позабыть таких великих белых богов, как шкипер и мистер Хаггин да еще Дерби и Боба, относившихся к той же породе. Они были какими-то другими, лучшими, чем-то отличались от этих черных дикарей, среди которых он сейчас жил. Они были где-то над ними, жили в недосягаемом раю; об этом рае у Джерри сохранилось живое воспоминание, по нему он тосковал, но пути к нему не знал и смутно ощущал конечность всего, представлял, что и этот рай может исчезнуть в последнем «ничто», которое поглотило шкипера и «Эренджи».

Тщетно пытался старик завоевать любовь Джерри. Он не мог вытравить воспоминания Джерри, хотя и добился его преданности и верности. За Наласу Джерри готов был сражаться не на жизнь, а на смерть, но сражаться преданно, а не страстно, как сражался бы за шкипера. А старик и не подозревал, что Джерри не отдал ему всего своего сердца.

Настал день для семьи Анно, когда один из них изобрел плетеные сандалии, чтобы предохранить подошвы ног от отравленных колючек, которыми Наласу отнял жизнь у троих. Собственно говоря, то был не день, а ночь, и такая черная ночь под затемненным облаками небом, что перед самым носом нельзя было разглядеть стволы деревьев. И двенадцать человек из семьи Анно спустились к просеке Наласу; они были вооружены снайдеровскими винтовками, пистолетами, томагавками и военными дубинками. Несмотря на свои толстые сандалии, они двигались очень осторожно, опасаясь колючек, которых Наласу больше уже не разбрасывал.

Джерри, сидя между коленями своего господина и сонно клюя носом, первый предостерег Наласу. Старик сидел у двери своего дома, широко раскрыв глаза и напряженно

прислушиваясь; так просиживал он все ночи уже много лет. Он стал прислушиваться еще напряженнее, но он долго ничего не мог уловить и шепотом расспрашивал Джерри, приказав ему отвечать возможно тише; и Джерри пыхтением, сопениями и всеми стенографическими звуками, каким был обучен, уведомил его, что приближаются люди — много людей, больше пяти человек.

Наласу пододвинул лук, наставил стрелу и стал ждать. Наконец и он уловил легкий шелест, раздававшийся то здесь, то там и надвигавшийся из джунглей. Еле слышно он потребовал подтверждения от Джерри, у которого шерсть ерошилась на шее под чувствительными пальцами Наласу. Джерри к тому времени мог читать ночной воздух не хуже, чем ушами, и снова тихо подтвердил Наласу, что идут люди — много людей, больше пяти.

Наласу, терпеливый, как и все старики, сидел, не шевелясь, пока не уловил вблизи на опушке джунглей, на расстоянии шестидесяти футов, шорох человеческих шагов. Он натянул лук, спустил стрелу и был вознагражден вздохом и стоном. Первым делом он удержал Джерри, порывавшегося за стрелой, ибо он знал, что стрела попала в цель, а затем наставил на тетиву новую стрелу.

Пятнадцать минут прошли в молчании; слепец сидел, словно высеченный из камня, собака дрожала от возбуждения под внятным прикосновением его пальцев, повинуясь приказанию молчать. Ибо Джерри знал не хуже Наласу, что смерть шелестит и крадется в окружающем мраке. Снова раздался шелест, на этот раз ближе, но спущенная стрела не попала в цель. Они слышали, как она ударилась о ствол дерева, и раздались тихие шаги отступавшего врага. После недолгого молчания Наласу приказал Джерри достать стрелу, Джерри был хорошо выдрессирован, и даже Наласу, слышавший лучше зрячих людей, не уловил ни единого звука, когда он двинулся по направлению к вонзившейся в дерево стреле и принес ее в зубах.

И снова Наласу стал ждать, пока не раздался шорох приближавшихся людей; тогда он взял все свои стрелы и в сопровождении Джерри бесшумно передвинулся на полкруга. И пока они шли, прогремел выстрел — целились наугад в только что покинутое ими место.

И с полуночи до рассвета слепец и собака успешно отражали нападение двенадцати человек, имевших в своем распоряжении порох и далеко бьющие пули из мягкого свинца. А слепец защищался только луком и сотней стрел. Он выпускал стрелы, а Джерри приносил их назад, и старик снова и снова пускал их. Джерри работал доблестно, помогая своим более чутким слухом, бесшумно кружась вокруг дома и докладывая, где готовится наступление.

Много драгоценного пороха израсходовали Анно впустую, так как это сражение напоминало игру с невидимыми духами. Ничего не было видно, кроме вспышек пороха. И Джерри они не видели ни разу, хотя чутьем угадывали его близость, когда он отыскивал стрелы. Один из них, нащупывая стрелу, едва в него не вонзившуюся, коснулся рукой спины Джерри и дико взвыл от ужаса, почувствовав острый укус. Они пробовали целиться в то место, где прогудела тетива Наласу, но всякий раз Наласу, выпустив стрелу, немедленно менял позицию. Не раз, почуяв близость Джерри, они стреляли в него, и один раз ему обожгло порохом нос.

На рассвете в недолгих тропических сумерках Анно отступили, а Наласу, скрывшись от света в свое жилище, все еще имел в своем распоряжении благодаря Джерри восемьдесят стрел. В результате Наласу убил одного человека, и неизвестно, сколько еще раненных стрелами с трудом уползли прочь.

Полдня Наласу просидел на корточках перед Джерри, лаская его за все, что он сделал. Затем, захватив с собой Джерри, он отправился в деревню и рассказал о сражении.

— Я обращаюсь к тебе, как старик к старику, — начал Башти. — Я старше тебя, о Наласу; я никогда не ведал страха. Однако я никогда не был храбрее тебя. Я бы хотел, чтобы все в племени были так же храбры, как ты. И все же ты причиняешь мне великую скорбь. Что толку в твоей отваге и ловкости, если нет у тебя потомства, в котором возродилась бы твоя отвага и ловкость.

— Я старый человек, — заговорил Наласу.

— Моложе меня, — перебил Башти. — И не слишком стар для женитьбы, чтобы дать племени сильное потомство.

— Я был женат долго и был отцом трех храбрых сыновей, но они умерли. Мне не прожить так долго, как тебе. О днях своей молодости я думаю, как о приятнейших сновидениях, о которых помнишь после пробуждения. Но больше думаю я о смерти, о конце. О женитьбе я совсем не думаю. Я слишком стар, чтобы жениться. Я достаточно стар, чтобы готовиться к смерти, и великое любопытство охватывает меня при мысли о том, что случится со мною, когда я умру. Буду ли я навеки мертвым? Стану ли снова жить в стране сновидений — жить, как тень, вспоминающая дни, когда я жил в знойном мире и голод щекотал мой рот, а в груди вздымалась любовь к женщине?

Башти пожал плечами.

— Я тоже много об этом думал, — сказал он. — И, однако, ни к чему не пришел. Я не знаю. И ты не знаешь. Мы не будем знать, пока не умрем, если только сможем что-нибудь знать, когда уж станем не теми, кем были раньше. Но одно мы знаем, ты и я: племя живет, племя никогда не умирает. Поэтому, если есть вообще какой-нибудь смысл в нашей жизни, мы должны делать племя сильным. Твой долг перед племенем не выполнен. Ты должен жениться, чтобы твоя ловкость и отвага остались после тебя. У меня есть для тебя на примете жена, нет, две жены, ибо дни твои сочтены и я, конечно, доживу до той поры, когда ты будешь подвешен к коньку дома для пирог, где висят отцы.

— Не стану платить за жену! — запротестовал Наласу. — Ни за какую жену не стану платить! Пачки табака или треснувшего кокоса не отдам за лучшую женщину Сомо!

— Не тревожься, — спокойно продолжал Башти. — Я заплачу выкуп за жену, за двух жен. Вот хотя бы Бубу. Я куплю ее для тебя за полкоробки табаку. Она плотная и коренастая, широкобедрая, с круглыми ногами. А другая — Нену. Ее отец загнул большую цену — целую коробку табаку. Я куплю тебе и ее. Дни твои сочтены. Мы должны спешить.

— Не женюсь! — истерически крикнул старик.

— Женишься! Я приказал.

— Нет, говорю я, нет, нет, нет! От жен одни неприятности. Они молоды, и головы у них забиты ерундой. И на язык они распущенны. Я стар, привык к спокойствию, пламя жизни покинуло меня, я предпочитаю сидеть один в темноте и думать. Молодые, болтливые создания, у которых и в голове и на языке одни глупости, сведут меня с ума. Непременно сведут с ума, и я стану плевать в каждую раковину, корчить рожи луне, выть и кусать себе вены.

— Если и сойдешь с ума, что за беда, раз семя твое не погибнет. За жен я заплачу отцам и пришлю тебе их через три дня.

— Не буду я с ними иметь дела! — в бешенстве заявил Наласу.

— Будешь, — спокойно сказал Башти. — А не то ты мне заплатишь. Я прикажу вывернуть тебе каждый сустав, и ты превратишься в студенистую рыбу, в жирную свинью с вынутыми костями; потом тебя положат на самую середину убойного поля, и будешь ты в муках пухнуть на солнцепеке. А то, что от тебя останется, велю бросить на съедение собакам. Семя твое не погибнет для Сомо. Я, Башти, так сказал. Через три дня я пришлю тебе твоих двух жен…

Он кончил, и наступило долгое молчание.

— Ну? — возобновил разговор Башти. — Или женись, или будешь лежать с вывихнутыми суставами на солнцепеке. Выбирай, но подумай хорошенько раньше, чем выберешь вывихнутые суставы.

— И это на старости лет, когда отошли все печали юности! — простонал Наласу.

— Выбирай. Познаешь печаль и волнение, когда будешь лежать на убойном поле, а солнце припечет твои больные суставы и вытопит жир из твоего тощего тела, как вытапливают сало из жареного поросенка.

— Присылай… — после долгой паузы выговорил с трудом Наласу. — Но присылай их через три дня, а не через два и не завтра.

— Хорошо. — Башти с важностью кивнул головой. — Не забудь, что тебя бы вовсе не было, если бы не те, жившие до тебя и давно уже пребывающие во мраке, кто трудился для того, чтобы племя могло жить и чтобы ты мог существовать. Ты существуешь. Они уплатили за тебя цену. Это твой долг. Ты вошел в жизнь, неся на себе этот долг. Ты уплатишь долг прежде, чем уйдешь из жизни. Таков закон. Это справедливо.

Глава девятнадцатая

Пришли Башти жен на два дня раньше назначенного срока или хотя бы на один день, Наласу пришлось бы вступить в пугавшее его чистилище брачной жизни. Но Башти сдержал свое слово, а на третий день он был поглощен более важным делом, чем отсылать Бубу и Нену к слепому старику, с опаской их поджидавшему. А дело было в том, что на утро третьего дня на всех вершинах подветренного берега Малаиты появились сигнальные столбы дыма. Они несли весть о том, что военный корабль появился у берега; большой военный корабль входит в коралловую лагуну у Ланга-Ланга. Молва росла. Военный корабль не остановился в Ланга-Ланга. Не остановился и в Бину. Он направляется в Сомо.

Наласу по своей слепоте не мог видеть эти дымные письмена, начертанные в воздухе. Дом его стоял на отлете, и никто не пришел уведомить старика. Первое предостережение он получил, когда пронзительные голоса женщин, плач детей и визг грудных младенцев донеслись с главной тропы, которая вела из деревни к нагорной границе Сомо. В этих звуках он прочел только панический страх и вывел заключение, что деревенское население бежит в горные укрепления. Но причины бегства он не знал.

Он подозвал Джерри и приказал пойти на разведку к большой смоковнице, где тропинка Наласу пересекалась с главной тропой; там он должен наблюдать, а затем вернуться с отчетом. Джерри уселся под смоковницей и стал следить за бегством всего Сомо. Мужчины, женщины и дети, юноши и старцы, матери с грудными младенцами и патриархи, опиравшиеся на палки и посохи, поспешно проходили мимо, охваченные великой тревогой. Деревенские псы, испуганные не меньше людей, воя и скуля, бежали за ними. И Джерри едва не заразился общим ужасом. Он чувствовал побуждение присоединяться к беглецам, спасавшимся от какой-

то неведомой катастрофы, которая надвигалась и будила в нем инстинктивную боязнь смерти. Но над этим импульсом одержало верх чувство долга перед слепым, который кормил и ласкал его в течение долгих шести месяцев.

Вернувшись к Наласу, Джерри уселся между его коленями и сделал доклад. Он не умел считать больше, чем до пяти, хотя и знал, что беглецов было во много раз больше. Поэтому он отметил пять мужчин и больше, пять женщин и больше, пять человек детей и больше, пять собак и больше, даже свиней он не забыл — пять свиней и больше. Наласу по слуху определил, что беглецов было во много раз больше, и спросил их имена. Джерри знал имена Башти, Агно, Ламаи и Лумаи. В его произношении эти имена отнюдь не напоминали обычного звукосочетания, а состояли из сопения и фырканья — той стенографической речи, которой обучил его Наласу.

Наласу стал перечислять другие имена, которые Джерри знал по слуху, но сам произнести не мог; большей частью он отвечал утвердительно, наклоняя голову и одновременно поднимая правую лапу. Выслушав некоторые имена, он продолжал сидеть неподвижно в знак того, что их не знает. Если же людей, кому принадлежали знакомые Джерри имена, он не видел, то отвечал отрицательно, поднимая левую лапу.

И, не зная, что надвигается нечто ужасное, значительно более ужасное, чем нападение соседних приморских племен, которое легко могло отразить население Сомо, защищенное своими стенами, Наласу догадался, в чем дело: то мог быть только карательный военный корабль. Несмотря на свои шестьдесят лет, Наласу ни разу не видел бомбардировки деревни. Он слыхал неясную молву о пушечном обстреле других деревень, но никакого представления о нем не имел, думая только, что пули должны быть большего размера и лететь дальше, чем снайдеровские.

Но перед смертью ему суждено было познакомиться с пушечным обстрелом. Башти, давно поджидавший крейсер, который должен был отомстить за уничтожение «Эренджи» и снятые головы двух белых, успел подсчитать предстоящие убытки и теперь отдал приказ своему народу бежать в горы. В авангарде шли двенадцать молодых людей, неся завернутые в циновки головы. В арьергарде шли последние запоздавшие беглецы, когда Наласу, захватив свой лук и восемьдесят стрел, сделал первый шаг, чтобы последовать за ними. Джерри шел за ним по пятам. В эту минуту воздух над его головой был рассечен ужасающим звуком.

Наласу сразу присел. То была первая граната, какую он слышал, и она оказалась в тысячу раз ужаснее, чем он воображал. Звук был оглушительный, раскалывающий небо, словно какое-то могущественное божество руками разодрало космическую ткань. Словно кто-то раздирал сложенные в кипу паруса — обширные, как земля, и необъятные, как небо.

Наласу не только опустился у самой двери своего дома, но и спрятал голову в колени и прикрыл ее руками. И Джерри, никогда не слыхавший бомбардировки, не мог дать себе отчета в происходящем и был охвачен ужасом. Для него это была естественная катастрофа, вроде той, какая постигла «Эренджи», когда судно накренилось на бок под ревущим ветром. Но, верный своей природе, он не припал к земле под визгом первого снаряда. Напротив, он ощетинился и угрожающе оскалил зубы, встречая то невидимое существо, какое на него надвигалось.

Наласу еще ближе припал к земле, когда снаряд разорвался вдали, а Джерри снова оскалил зубы и взъерошил шерсть. То же повторялось при каждом новом снаряде, которые визжали уже не так громко, но разрывались в джунглях все ближе и ближе. И Наласу, мужественно проживший всю свою долгую жизнь среди знакомых ему опасностей, был обречен умереть смертью труса, охваченный ужасом перед неведомым химическим процессом, пославшим

снаряд белых людей. По мере того как разрывы приближались, он терял последнее самообладание. Так велик был его панический страх, что он готов был прокусить себе вены и завыть. С безумным воплем он вскочил на ноги и ринулся в дом, словно соломенная крыша его жилища и в самом деле могла защитить его голову от обстрела. Он ударился о косяк и, описав полукруг, упал на середину пола, а следующий снаряд угодил ему прямехонько в голову.

Джерри как раз дошел до порога, когда снаряд разорвался. Дом разлетелся на части, а с ним и Наласу. Джерри, стоявший на пороге, был подхвачен воздушной волной и отлетел шагов на двадцать в сторону. И в тот же момент что-то рухнуло на него. Казалось, то было землетрясение, волна прилива, извержение вулкана, небесный гром и огненная вспышка молнии. И он потерял сознание…

Он не имел представления, как долго пролежал. Прошло пять минут, прежде чем его ноги судорожно задергались; а когда он, одурманенный, шатаясь, поднялся на ноги, протекшее время словно стерлось в его памяти. О времени он вообще не думал. В сознании мелькнуло только, что секунду назад его поразил устрашающий удар, бесконечно более сильный, чем удар палки.

Горло и легкие были заполнены едким, удушливым дымом пороха, ноздри забиты землей и пылью; он отчаянно чихал и фыркал, метался, падал на землю, словно пьяный, снова подпрыгивал, пошатываясь на задних лапах, наконец, опустив морду, стал тереть нос передними лапами, а потом зарылся носом в землю. Он думал только о том, чтобы уничтожить едкую боль в носу и во рту, прогнать из груди удушье.

Каким-то чудом разлетевшиеся осколки снаряда его не задели, а благодаря здоровому сердцу он не умер от сотрясения воздуха при взрыве. Лишь по истечении пяти минут бешеной борьбы, когда он вел себя ни дать ни взять, как только что зарезанная курица, жизнь снова показалась ему сносной. Удушье и боли стали проходить, и хотя он еще испытывал слабость и головокружение, но все же засеменил по направлению к дому и к Наласу. Но ни дома, ни Наласу не было: оба были искрошены.

Снаряды по-прежнему визжали и разрывались то вблизи, то вдалеке, пока Джерри вникал в происшедшее. И Дом и Наласу, несомненно, исчезли. На обоих спустилось последнее ничто. Казалось, весь непосредственно близкий мир был обречен на уничтожение. Жизнь как будто еще оставалась там, среди высоких холмов и в далеких джунглях, куда уже скрылось племя Сомо. Джерри был верен своему господину, которому так долго повиновался, хотя тот и был чернокожим. Наласу его кормил, и к нему Джерри был искренне привязан. Но этот господин перестал существовать.

Джерри стал удаляться, но удалялся не спеша. Сначала он всякий раз рычал, заслышав визг снаряда, летящего в воздухе, или взрыв в кустах. Но спустя некоторое время, хотя снаряды все еще действовали на него неприятно, он перестал рычать и скалить зубы, а шерсть на шее разгладилась.

Расставшись с тем, что некогда было и перестало существовать, он не визжал и не помчался, как лесная собака. Вместо этого он размеренной рысью и с достоинством побежал по тропинке. Выскочив на главную тропу, он нашел ее безлюдной. Последние беглецы прошли. Тропа, где обычно с утра до ночи шло движение, та тропа, которую Джерри так недавно видел запруженной народом, теперь своим безлюдьем говорила ему о конечности всех вещей в гибнущем мире. И потому Джерри не уселся под смоковницей, а побежал дальше за арьергардом племени.

Нюхом он читал историю бегства и только один раз наткнулся на страшную картину. То была целая группа, группа, уничтоженная снарядом: пятидесятилетний мужчина на костыле — нога его была отхвачена акулой, когда он был мальчишкой, — мертвая женщина с мертвым младенцем у груди и мертвым трехлетним ребенком, уцепившимся за ее руку, и две мертвые свиньи, большие и жирные, которых женщина гнала в безопасное место.

И нос Джерри рассказал ему, как поток беглецов раздвоился, обошел это место и снова слился. Джерри встречал следы бегства: полуобглоданный стебель сахарного тростника, брошенный ребенком; глиняная трубка с отбитым коротким мундштуком; перо, выпавшее из прически юноши; плошка с печеным мясом и сладким картофелем, осторожно поставленная у тропинки какой-нибудь женщиной, уставшей ее тащить.

Тем временем обстрел прекратился. Вскоре Джерри услышал ружейную стрельбу: десант расстреливал домашних свиней на улицах Сомо. Но Джерри не слыхал, как срубались кокосовые пальмы, и так и не вернулся, чтобы поглядеть, какие опустошения произвели топоры. Ибо как раз в это время с Джерри произошла чудесная вещь, какую еще не объяснил ни один из мировых мыслителей. В его собачьем мозгу проснулась свобода воли, которая для всех философов-метафизиков являлась постулатом бытия, а всех философов-детерминистов водила за нос, несмотря на их определенное заявление, что свобода воли — чистейшая иллюзия. Как и почему он это сделал, Джерри знал столько же, сколько знает любой философ, почему он решил позавтракать кашей со сливками, а не двумя яйцами всмятку.

А Джерри, повинуясь импульсу, выбрал не то, что легко и привычно, а как раз обратное: то, что казалось трудным и необыкновенным. Так как легче выносить известное, чем стремиться к неизвестному, и так как несчастье и страх заставляют бежать от одиночества, то легче всего было бы для Джерри последовать за племенем Сомо в его укрепления. А вместо этого Джерри свернул с пути отступающих и двинулся на север, к границам Сомо, и все дальше на север, в страну неведомого.

Если бы Наласу не перешел в последнее небытие, Джерри остался бы. Это правда, и, обсуждая его поступок, можно предположить именно такой ход мышления. Однако Джерри об этом не размышлял и вовсе ни о чем не думал: он действовал импульсивно. Он мог сосчитать пять предметов и назвать их, но совершенно не способен был осознать, что остался бы в Сомо, не умри Наласу. Он уходил из Сомо, ибо Наласу был мертв, а ужасный обстрел отошел в область прошлого, тогда как настоящее сделалось живым. Бесшумно пробирался он по тропинкам диких лесных жителей, напряженно чуя притаившуюся смерть, которая, как ему было известно, бродит по этим тропам. При каждом шелесте в джунглях он напряженно настораживал уши, а глазами впивался в заросли, стараясь выяснить причину шума.

Колумб, весь целиком отдавшийся неизвестному, был не более отважен, чем Джерри, рискнувший войти во мрак джунглей черной Малаиты. И этот удивительный поступок, это великое проявление свободной воли он совершил так же, как совершают свои странствования по лицу земли люди, которые не могут усидеть на месте и отдаются дразнящей мечте.

Джерри так больше и не увидел Сомо, но Башти вернулся со своим племенем в тот же день и, хихикая и ухмыляясь, определил ничтожные убытки. Всего лишь несколько травяных домов пострадало от обстрела. И очень мало кокосовых пальм было срублено. А чтобы убитые свиньи не испортились, их туши пошли на пиршественный стол. Один снаряд пробил брешь в береговой стене. Он приказал ее расширить для спусковых полозьев и укрепить по бокам коралловыми камнями и повелел построить добавочный дом для пирог. Досаду причинили ему только смерть Наласу и исчезновение Джерри: пропали оба объекта для примитивных экспериментов в области наследственности.

Глава двадцатая

В джунглях Джерри прожил недолго, а в горы ему мешали пробраться лесные жители, постоянно охранявшие тропинки. С пищей ему пришлось бы туго, не встреть он на второй день одинокого поросенка, видимо, отбившегося от семьи. То было первое его охотничье приключение, и это помешало ему продвигаться дальше, так как, верный своему инстинкту, он не отходил далеко от убитого поросенка, пока не сожрал его.

Правда, он рыскал по соседству, но другой пищи добыть не мог и всякий раз возвращался к поросенку, пока не прикончил его. Свобода не дала ему счастья. Он был слишком приручен, слишком цивилизован. Слишком много тысячелетий прошло с тех пор, как его предки жили свободной, дикой жизнью. Он был одинок. Он не мог обойтись без человека. Слишком долго он и поколения его предков прожили в тесной близости с двуногими богами. Слишком долго его предки любили человека, за любовь служили ему, страдали и умирали за любовь, а взамен получали грубую ласку, мало понимания и немногим больше внимания.

Так велико было одиночество Джерри, что он порадовался бы и черному богу, раз уж белые боги давно отошли в область прошлого. Умей он делать выводы, он пришел бы к тому заключению, что все белые боги погибли. Следуя предпосылке, что черный бог лучше, чем полное отсутствие бога, Джерри, покончив с поросенком, изменил свой курс и двинулся налево, с холмов к морю. Поступил он так, опять-таки, не рассуждая, а на основании запечатлевшегося в мозгу воспоминания о пережитом.

Он жил всегда у моря, и у моря всегда встречал людей, а холмы неизменно спускались к морю.

Он вышел на берег защищенной коралловыми рифами лагуны; здесь он увидел разрушенные травяные шалаши — следы живших тут людей. Джунгли завладели покинутой деревней. Шестидюймовые деревья, охваченные гнилыми остатками тростниковых крыш, сквозь которые они пробились к солнцу, вздымались над Джерри. Быстро растущие деревья затенили священные столбы, где идолы и тотемы, восседающие в пасти вырезанных из дерева акул, сквозь налет мха и пятнистых грибков ухмылялись зеленым чудовищным оскалом, издеваясь над суетой сует. От кокосовых пальм к спокойному морю тянулись развалины маленького, жалкого приморского вала. Бананы, смоквы и плоды хлебного дерева гнили на земле. Повсюду валялись кости — человеческие кости, — и Джерри, обнюхав их, признал их за то, чем они были, — эмблемы суетности жизни. Черепа ему не попадались, так как они служили украшением домов колдунов в гористых лесных деревнях.

Соленый привкус моря дразнил его обоняние, и он с удовольствием вдыхал зловоние мангиферового болота. Но вдруг, как новый Робинзон, наткнувшийся на след Пятницы, Джерри насторожился, как наэлектризованный. Он не увидел, а носом почуял свежий след ноги живого человека. То была нога негра, но негра живого, совсем недавно оставившего этот отпечаток; а проследив его ярдов на двадцать, он напал на след другой ноги, несомненно, принадлежавшей белому человеку.

Созерцай кто-нибудь эту сцену, он бы подумал, что Джерри внезапно взбесился. Он кидался, как сумасшедший, из стороны в сторону, вертелся, извивался, то утыкался носом в землю, то водил им по воздуху, бешено взвизгивая на бегу; почуяв новый запах, круто сворачивал под углом, метался то туда, то сюда, словно играя в пятнашки с невидимым товарищем.

А в действительности он читал то, что было написано людьми на земле. Тут прошел белый человек, вынюхивал Джерри, а с ним несколько чернокожих. А здесь негр влез на кокосовую пальму и стряхнул орехи. Там с бананового дерева сняли пучки плодов, а дальше та же участь,

несомненно, постигла и хлебное дерево. Только одно приводило его в недоумение — новый для него запах, который не был ни запахом чернокожего, ни запахом белого. Обладай он нужными знаниями и умением всматриваться, он бы отметил, что отпечаток ноги меньше мужского, а пальцы в отличие от чернокожей женщины сближены и не так глубоко вдавливаются в землю. А с толку его сбивал незнакомый запах талька, раздражающий ноздри и не встречавшийся ни разу с тех пор, как он научился нюхом узнавать след человека. И с запахом талька смешивались другие, более слабые запахи, также совершенно ему незнакомые.

Но Джерри недолго останавливался на этой тайне. Почуяв след белого человека, он проследил его сквозь лабиринт всех других следов, через брешь в приморской стене, до песчаной коралловой косы, омываемой морем. Самые свежие отпечатки ног он нашел в том месте, где нос лодки врезался в берег, и люди высаживались из нее, а потом снова в нее уселись. Он нюхом почуял все здесь происходившее, и, опустив передние лапы в воду, пока она не коснулась его плеч, поглядел на лагуну — туда, где терялся след.

Приди Джерри получасом раньше, он бы увидел лодку без весел, с газолиновым двигателем, летящую по спокойной воде. А теперь он увидел «Эренджи». Правда, этот «Эренджи» был значительно больше прежнего «Эренджи», но такой же белый, длинный, с мачтами, и плыл он по поверхности моря. На нем были три величественные мачты — все одной вышины, — но Джерри был не настолько наблюдателен, чтобы уловить разницу между ними и двумя мачтами «Эренджи» — короткой и длинной. Джерри знал один только плавучий мир — окрашенный в белый цвет «Эренджи». А раз это был «Эренджи», то на борту должен находиться его возлюбленный шкипер. Если может воскресать «Эренджи», то почему не воскреснуть и шкиперу? И Джерри, проникнутый верой, что мертвая голова, виденная им в последний раз на коленях у Башти, снова присоединилась к двуногому туловищу и находится на палубе белого плавучего мира, пошел вброд до глубокого места, а затем поплыл.

Джерри рисковал многим, так как, бросаясь в море, нарушал величайшее и старейшее из всех усвоенных им табу. В его словаре не было слова «крокодил», но таким же сильным, как членораздельное слово, жил в его мыслях страшный образ — образ плавучего бревна. Но бревно было живым существом, могло плавать и на поверхности воды и под водой и ползти по суше; у этого бревна были огромные зубастые крепкие челюсти, и оно несло верную смерть всякой плывущей собаке.

И все-таки Джерри продолжал бесстрашно нарушать табу.

В отличие от человека, который, плывя, может одновременно испытывать два чувства: страх и мужество, берущее верх над страхом, — Джерри сознавал лишь одно: он плывет к «Эренджи» и к шкиперу. В момент, предшествовавший первому взмаху лап в глубокой воде, он сознавал весь ужас умышленного нарушения табу. Но, пустившись вплавь, приняв решение и избрав линию наименьшего сопротивления, он весь, умом и сердцем, сосредоточился на том, что плывет к шкиперу.

Ему мало приходилось практиковаться в плавании, и сейчас он напрягал все силы, подвывая и в этом вое выражая свою страстную любовь к шкиперу, который, несомненно, должен быть на борту белой яхты на расстоянии полумили от него. Его маленькая песенка, полная любви и острого беспокойства, донеслась до слуха мужчины и женщины, отдыхавших в креслах под палубным тентом, а зоркая женщина первая увидела золотистую голову Джерри и вскрикнула.

— Спусти шлюпку! — скомандовала она. — Там собачка. Как бы она не утонула!

— Собаки не так-то легко тонут, — ответил муж. — Выбьется. Но как попала сюда собака? — Он

поднес к глазам свой морской бинокль и секунду всматривался. — Да к тому ж собака белых людей!

Джерри ударял лапами по воде и упорно плыл вперед, не сводя глаз с приближавшейся яхты, как вдруг почуял близость опасности. Табу карал его. Навстречу ему двигалось плавучее бревно, которое было не бревном, а чем-то живым и грозным. Он видел, как часть его двигается над поверхностью воды, и раньше, чем оно целиком погрузилось в воду, Джерри уловил какую-то разницу между ним и плавучим бревном.

Затем что-то пронеслось мимо него, а он ответил рычанием и зашлепал передними лапами по воде. Его едва не закрутило в водовороте, так как скользнувшее существо пугливо взметнуло хвостом. То была акула, а не крокодил, и она не отступила бы так робко, если бы не была уже сыта по горло, прикончив большую морскую черепаху, которая по старости не сумела спастись.

Джерри не видел, но чувствовал, что это существо, грозящее гибелью, вертится неподалеку. Не видел он и спинного плавника, показавшегося над водой и приближавшегося к нему с тыла. С яхты раздались частые ружейные выстрелы, и в тылу у него началась паника, послышался плеск воды. Тем и кончилось дело. Опасность миновала и была забыта. Джерри не связывал ружейные выстрелы с уничтожением опасности. Он не знал, и никогда не суждено ему было узнать, что некто по имени Гарлей Кеннан, или «муженек», как называла его женщина, именуемая им «женушкой», собственник трехмачтовой яхты «Ариель», спас ему жизнь, пробив ружейной пулей основание плавника акулы.

Но Джерри суждено было в самом непродолжительном времени узнать Гарлея Кеннана, так как сам Гарлей Кеннан, обвязанный под мышкой булинем, был спущен двумя матросами за борт гостеприимного «Ариеля» и ухватил за загривок гладкошерстного ирландского терьера. А Джерри, повиснув над водой, даже не удостоил его взглядом, так как искал только одно знакомое ему лицо и жадно вглядывался в людей, свесившихся через поручни.

Очутившись на палубе, Джерри не стал терять времени на изъявление благодарности, а, инстинктивно отряхнувшись на бегу, понесся искать шкипера. Муж и жена рассмеялись.

— Он ведет себя так, словно с ума сошел от радости, — заметила миссис Кеннан.

— Не в том дело, — возразил мистер Кеннан. — У него, должно быть, какого-нибудь винтика не хватает. Быть может, у него, как у зубчатого колеса, соскочила задерживающая полоска. Вот он и не может остановиться, пока не убегается.

Тем временем Джерри продолжал носиться во палубе вдоль обоих бортов, от кормы до носа и обратно, виляя обрубленным хвостом и дружелюбно улыбаясь многочисленным двуногим богам, попадавшимся ему на пути. Будь он способен на отвлеченные рассуждения, он был бы поражен количеством белых-богов. Их было не меньше тридцати, не считая других богов, ни черных и ни белых, которые тем не менее ходили на двух ногах, были одеты и, несомненно, являлись богами. Кроме того, будь он способен к подобному обобщению, он бы решил, что еще не все белые боги перешли в небытие. Но Джерри все это воспринимал бессознательно.

А шкипера нигде не было. Джерри сунул нос в люк на баке и в камбуз, где два кока-китайца залопотали что-то непонятное, и в рубку, и в люк машинного отделения, где впервые познакомился с запахом газолина и машинного масла; но сколько он ни принюхивался и где бы ни бегал, запаха шкипера не находил.

У штурвала он готов был сесть и завыть от горького разочарования, но тут к нему обратился

белый бог, по-видимому, особа важная, в форменном кителе и белоснежной полотняной фуражке, обшитой золотом. Джерри, всегда вежливый, сейчас же улыбнулся, любезно прижав уши, завилял хвостом и приблизился. Рука этого важного бога уже почти коснулась его головы, когда по палубе пронесся женский голос. Слов Джерри не понял, но почувствовал в них властное приказание. Бог, одетый в белое с золотом, быстро отдернул руку, уже почти коснувшуюся его головы, выпрямился, как наэлектризованный, и указал Джерри вдоль палубы, поощряя его словами; Джерри мог только догадаться, что его направляют к той, которая выразила свою волю в словах:

— Капитан Винтерс, пожалуйста, пришлите его ко мне.

Джерри изогнулся всем телом, восторженно повинуясь, и с готовностью просунул бы голову под ее ласково протянутую руку, если бы его не остановило что-то странное в ней, отличное от других людей. Он застрял на полдороге и, оскалив зубы, попятился от ее раздуваемой ветром юбки. Он знал только голых туземных женщин. Эта юбка, хлопающая на ветру, как парус, напомнила ему грозный грот «Эренджи», трещавший и бившийся над его головой. Голос ее был ласковый в вкрадчивый, но страшную юбку по-прежнему раздувал ветерок.

— Ах ты, смешная собака! — расхохоталась миссис Кеннан. — Я не собираюсь тебя укусить.

А ее муж протянул сильную руку и привлек к себе Джерри. И Джерри в восторге извивался под лаской бога и лизал ему руку красным языком. Затем Гарлей Кеннан направил его к женщине, сидевшей в кресле и протягивавшей ему навстречу руки. Джерри повиновался. Он приблизился с прижатыми ушами и смеющейся мордой, но не успела она его коснуться, как ветер снова стал трепать юбку, и Джерри с ворчанием отступил.

— Он не тебя боится, Вилла, а твоей юбки, — сказал Кеннан. — Быть может, ему никогда не приходилось видеть юбку.

— Ты, видимо, думаешь, — заметила та, — что здешние людоеды имеют образцовые псарни. Ведь этот собачий авантюрист — ирландский терьер чистейшей породы. Это так же верно, как и то, что «Ариель» — шхуна, обшитая орегонской сосной.

Гарлей Кеннан засмеялся, соглашаясь с ней. Засмеялась и она; а Джерри, поняв, что перед ним пара счастливых богов, сам стал смеяться. По собственной инициативе он приблизился к женщине-богу, привлекаемый тальковым порошком и другими более слабыми ароматами, в которых он уже успел узнать странные запахи, встреченные на берегу. Но злополучный пассат снова раздул ее юбку, и снова Джерри отступил — на этот раз не так далеко и уже не рыча, а лишь слегка оскалив клыки.

— Он боится твоей юбки, — настаивал Гарлей. — Посмотри на него! Он хочет к тебе подойти, а юбка его отпугивает. Подбери ее, чтобы она не развевалась, и увидишь, что будет.

Вилла Кеннан последовала совету, и Джерри осторожно подошел и подсунул голову под ее руку, обнюхал ее ноги. В них он узнал те самые ноги, которые шли разутые по заброшенным тропам прибрежной деревни.

— Не может быть никаких сомнений, — заявил Гарлей. — Эта собака появилась на свет в результате тщательного отбора и воспитана белым человеком. У него есть прошлое. Он пережил исключительные приключения и если бы мог рассказать свою историю, мы бы слушали, зачарованные, по целым дням. Уж можешь мне поверить — он не всю свою жизнь провел с чернокожими. Давай испытаем его на Джонни.

Джонни, которого подозвал к себе Кеннан, был предоставлен в их распоряжение верховным комиссаром британских Соломоновых островов, жившим в Тулаги, и служил Кеннану лоцманом и гидом. Джонни, ухмыляясь, приблизился, и поведение Джерри резко изменилось. Тело его напряглось под рукой Виллы Кеннан, он отошел от нее и, не сгибая ног, двинулся к чернокожему. Уши Джерри не были прижаты, и он уже не улыбался дружелюбно, когда осматривал Джонни и обнюхивал его голые икры, чтобы уметь опознать его в будущем. Но он был в высшей степени вежлив и после самого поверхностного осмотра вернулся к Вилле Кеннан.

— А что я говорил? — торжествовал ее муж. — Он понимает разницу в цвете. Это собака белого человека, и ее выдрессировали соответствующим образом.

— Мой говорит, — начал Джонни. — Мой знает этот собака. Мой знает его папа и мама. Большой белый господин мистер Хаггин живет в Мериндже, и там живет папа и мама этот собака.

Гарлей Кеннан перебил его, возбужденно воскликнув:

— Ну, конечно! Ведь комиссар рассказал мне об этом. «Эренджи», захваченный племенем Сомо, отошел с плантации Мериндж. Джонни узнал в собаке ту же породу, какую, должно быть, держит Хаггин в Мериндже. Но с тех пор прошло немало времени. Собака была тогда еще щенком. Ну, конечно, это собака белых.

— Однако ты не заметил главного доказательства, — поддразнила его Вилла Кеннан. — А это доказательство собака носит на себе.

Гарлей тщательно осмотрел Джерри.

— Неоспоримое доказательство, — настаивала она.

После вторичного длительного осмотра Кеннан покачал головой.

— Ей-богу, не вижу ничего столь неоспоримого, чтоб отмести все возражения.

— А хвост? — залилась смехом его жена. — Ведь туземцы не отрубают хвостов у своих собак… Джонни, черный человек в Малаите не режет собаке хвост?

— Не режет, — согласился Джонни. — Мистер Хаггин в Мериндже, он режет. Мой говорит, он резал хвост этот собака.

— Значит, эта собака одна только и уцелела с «Эренджи», — заключила Вилла Кеннан. — Вы согласны со мной, Шерлок Холмс-Кеннан?

— Преклоняюсь перед вами, миссис Шерлок Холмс, — галантно ответил ее муж. — Вам остается только повести меня туда, где находится голова самого Лаперуза. В морских записях имеются указания, что он ее оставил где-то на этих островах.

Они и не подозревали, что Джерри жил в тесной близости с неким Башти. А в это самое время всего в нескольких милях вдоль по берегу, в Сомо, сидел в своем травяном доме Башти и размышлял над лежавшей на его иссохших коленях головой, которая была некогда головой великого мореплавателя, чья история была забыта сыновьями вождя, снявшего ее.

Глава двадцать первая

Красивая трехмачтовая шхуна «Ариель» совершала кругосветное плавание и вышла из Сан-Франциско за год до того, как Джерри попал к ней на борт. Как мир, и при этом мир белых богов, она казалась ему вне всяких сравнений. Она была больше «Эренджи», и чернокожие не сновали на ней повсюду: и на носу, и на корме, и на палубе, и внизу Джерри нашел на ней только одного чернокожего — Джонни; остальное же ее пространство было заполнено двуногими белыми богами.

Джерри встречал их повсюду: они стояли на вахте у штурвала, мыли палубу, начищали медные части, взбирались на мачты и поднимали паруса. Но боги были разные, и Джерри скоро усвоил, что в иерархии этих белых богов «Ариеля» матросы и прочая судовая команда стояли значительно ниже капитана я его двух помощников, одетых в белое с золотом. А эти, в свою очередь, были ниже Гарлея Кеннана и Виллы Кеннан, ибо им, как быстро обнаружил Джерри, приказания отдавал Гарлей Кеннан. Однако кое-что Джерри не знал, и не суждено было ему это узнать, а именно: кто был верховным божеством на «Ариеле». Эту загадку он и не пытался разрешить, ибо на подобное мышление был неспособен; он так никогда и не узнал, командовал ли Гарлей Кеннан Виллой или Вилла Кеннан Гарлеем. Не утруждая себе голову разрешением этой проблемы, Джерри принял их верховное господство над миром как дуалистическое. Ни один не превосходил другого. Казалось, они правили как равные, а все остальные перед ними склонялись.

Неверно, будто необходимо кормить собаку, чтобы завоевать собачье сердце. Гарлей и Вилла никогда не кормили Джерри; однако их он избрал своими господами, их пожелал любить и им служить, а не японцу-баталеру, аккуратно его кормившему. Дело в том, что Джерри, как и всякая собака, умел уловить разницу между тем, кто дает ему есть, и тем, кто приказывает его кормить. Подсознательно он понимал, что не только его собственная кормежка, но и пропитание всех на борту зависит от мужчины и женщины. Это они всех кормили и всеми управляли. Капитан Винтерс мог отдавать приказания матросам, но сам получал приказания от Гарлея Кеннана. Джерри был в этом убежден и действовал соответственно, хотя это никогда сознательно не приходило ему в голову.

И как всегда — как это было с мистером Хаггином, со шкипером и даже с Башти и верховным колдуном Сомо — Джерри привязался к старшим богам, а со стороны низших богов принимал соответствующие знаки внимания. Как шкипер на «Эренджи» и Башти Сомо провозгласили табу на Джерри, так и владельцы «Ариеля» защитили его табу. Пищу Джерри получал от Сано, японца-баталера,

— и только от него. Ни один матрос не смел ему предложить кусочек сухаря или пригласить на берег пробежаться, а Джерри не мог принять такое предложение. Но они и не предлагали. Не разрешалось им и фамильярничать с Джерри, затеять с ним игру или позвать его свистом.

Джерри по натуре своей был собакой «одного господина», а потому все это было для него очень приемлемо. Конечно, намечались известные градации, но никто не разбирался в них с такой тонкостью и точностью, как сам Джерри. Так, обоим помощникам разрешалось приветствовать его словом «Алло!» и даже дружески погладить по голове. А с капитаном Винтерсом допускалась большая фамильярность. Капитан Винтерс мог трепать его за уши, здороваться с ним за лапу, чесать ему спину и даже хватать за морду. Но капитан Винтерс неизменно оставлял его в покое, когда на палубе показывались Кеннаны.

Что касается вольностей очаровательных и шаловливых — только Джерри, одному из всех находившихся на борту, разрешалось вольничать с мужем и женой, а с другой стороны —

только им двоим и он позволял такие же вольности. Всякую выходку, какая приходила на ум Вилле Кеннан, он принимал, замирая от счастья; так, например, она завертывала ему внутрь уши и одновременно заставляла его служить; чтобы сохранить равновесие, он беспомощно махал передними лапами, а она шутливо дула ему в нос. Такими же вольными были и шутки Гарлея Кеннана; застав Джерри сладко спящим на подоле юбки Виллы, он начинал щекотать ему между пальцами. Джерри бессознательно отбрыкивался во сне, а проснувшись, слышал взрыв смеха по своему адресу.

По вечерам на палубе Вилла шевелила пальцами под одеялом, подражая какому-то странному ползущему животному, а Джерри прикидывался одураченным и приводил в полный беспорядок ее постель, яростно накидываясь на крадущееся животное, хотя прекрасно знал, что это были всего-навсего ее пальцы. К взрывам ее смеха примешивались возгласы почти подлинного испуга, когда Джерри едва не хватал ее зубами за ногу, и дело всегда кончалось тем, что Вилла заключала его в свои объятия, и замиравший смех щекотал ему уши, любовно прижатые назад. Кто еще из находившихся на борту «Ариеля» дерзнул бы так безобразничать на постели богини? Этого вопроса Джерри себе не задавал; однако он прекрасно понимал, какими исключительными милостями пользуется.

Еще одну вольную шалость Джерри придумал случайно. Как-то он любовно подсунул морду к ее лицу и нечаянно ткнулся своим твердым носом с такой силой, что она вскрикнула и отшатнулась. А когда это случилось вторично, он уже сознательно отметил, какое впечатление это производит на Виллу, и с тех пор всякий раз, как она начинала слишком вольно над ним подшучивать и дразнить его, он совался мордой в ее лицо, заставляя ее откидывать голову. Вскоре он убедился, что своей настойчивостью может заставить Виллу сдаться: она прижимала его к себе, и ее журчащий смех лился прямо ему в уши; и с той поры он упорно играл свою роль, пока не добивался такой восхитительной капитуляции и радостной развязки игры.

В этой игре гораздо больнее приходилось его нежному носу, чем ее подбородку или щеке, но и сама боль доставляла ему удовольствие. Все это было шуткой, и вдобавок еще любовной шуткой. Такая боль казалась ему счастьем.

Все собаки поклоняются божеству. Джерри оказался счастливее большинства собак: он обрел любовь двух богов; хотя они и командовали им, но и любили сильнее. Правда, нос его угрожал ударить щеку возлюбленного бога, но Джерри скорей отдал бы по капле всю кровь своего сердца, чем согласился сделать больно. Он жил не ради куска хлеба, не ради пристанища, не ради уютного местечка в мире, окутанном мраком. Он жил ради любви. И за любовь он готов был умереть с такою же радостью, с какою жил ради любви.

В Сомо воспоминания о шкипере и мистере Хаггине не скоро могли стереться. Жизнь в деревне каннибалов не удовлетворяла Джерри. Слишком мало было там любви. Только любовь может изгладить память о любви, или, вернее, боль утраченной любви. А на борту «Ариеля» этот процесс совершался быстро. Джерри не забыл шкипера и мистера Хаггина. Но в те минуты, когда он их вспоминал, тоска по ним была менее острой и мучительной. Он стал реже вспоминать их и видеть во сне, а сны Джерри, как и всех собак, были отчетливые и яркие.

Глава двадцать вторая

Яхта «Ариель» лениво двигалась на север вдоль подветренного берега Малаиты, прокладывая себе путь по красочной лагуне, окаймленной рифами. Яхта дерзала проходить в такие узкие, усеянные кораллами проливы, что у капитана Винтерса, по его словам, с каждым днем прибавлялась новая тысяча седых волос на голове. Якорь отдавали у каждого укрепленного кораллового островка и у каждого мангиферового болота, где могли селиться каннибалы.

Гарлею и Вилле Кеннан некуда было спешить. Пока путешествие их занимало, они не беспокоились о том, сколько времени тянется переезд с одного места на другое.

За это время Джерри усвоил свое новое имя — вернее, целую серию имен. Это объяснялось тем, что Гарлею Кеннану не хотелось давать ему новую кличку.

— Какое-нибудь имя у него было, — убеждал он Виллу. — Хаггин, несомненно, дал ему кличку, перед тем как отправить на «Эренджи». Пусть уж он останется безымянным, пока мы не вернемся в Тулаги и не узнаем его настоящего имени.

— Велика важность — имя! — стала поддразнивать Вилла.

— Это очень важно. Представь себе, что ты потерпела кораблекрушение и твои спасители называют тебя миссис «Ригге», или мадемуазель «де Мопен», или просто — «Топси». А меня — «Бенедикт Арнольд», или «Иуда», или… или «Аман». Нет, пусть остается без имени, пока мы не узнаем его первоначальной клички.

— Но должна же я как-нибудь его называть, — не соглашалась Вилла. — Иначе как я буду о нем думать?

— Ну, так давай ему разные клички, но никогда не повторяй одной и той же. Называя его сегодня «Пес», завтра — «Мистер Пес», а послезавтра как-нибудь иначе.

И с тех пор, угадывая скорее по тону, ударению и по обстоятельствам момента, Джерри стал смутно отождествлять себя с кличками: Пес, Мистер Пес, Авантюрист, Силач, Глупыш, Безымянный и Горячее Сердце. То были лишь несколько из многочисленных прозвищ, расточаемых Виллой. Гарлей, в свою очередь, называл его: Мужественный Пес, Неподкупный, Некто, Грешник, Золотой, Сатрап Южных Морей, Немврод, Юный Ник и Убийца Львов. Короче, и муж и жена соперничали друг с другом, давая ему всевозможные имена и никогда не повторяясь. А Джерри, не столько по звукам и слогам, сколько по любовной интонации, быстро научился отождествлять себя со всяким новым прозвищем. Он больше не думал о себе, как о Джерри, и своим именем признавал всякое слово, звучащее ласково и любовно.

Большим разочарованием — если только можно считать разочарованием неосознанную неудачу — окончилась его попытка разговаривать. Ни один человек на борту, не исключая Гарлея и Виллы, не говорил на языке Наласу. Весь богатый словарь Джерри и его умение пользоваться им, какое могло выдвинуть его как феномен из среды всех прочих собак, тратились зря на борту «Ариеля». Обитатели «Ариеля» не понимали и не догадывались о существовании стенографического языка, какому обучил его Наласу, и со смертью Наласу этот язык знал во всем мире один только Джерри.

Тщетно пытался Джерри разговаривать с богиней. Сидя перед ней и положив вытянутую голову на ее руки, он говорил и говорил, но ни разу не услышал от нее ответного слова. Еле слышно повизгивая, скуля, сопя, издавая горлом разнообразные звуки, он старался рассказать ей что-нибудь из своей жизни. Она вся была воплощенное внимание: так близко подставляла ухо к его рту, словно хотела утопить его в струящемся благоухании своих волос, и все же ее мозг не воспринимал его речи, хотя сердцем она, несомненно, чуяла его намерение.

— Боже мой, муженек! — восклицала она. — Ведь Пес говорит. Я знаю, что он говорит. Он мне рассказывает всю свою жизнь. Я знала бы о нем все, если бы могла понять. Но мои несчастные несовершенные уши ничего не улавливают.

Гарлей отнесся скептически, но женская интуиция ее не обманывала.

— Я в этом уверена! — убеждала она мужа. — Говорю тебе, он мог бы рассказать нам историю всех своих приключений, если бы мы его понимали. Ни одна собака не разговаривала так со мной. Это настоящий рассказ. Я чувствую все его оттенки. Иногда я почти уверена, что он говорит о радости, о любви, о великих битвах. А потом слышится негодование, оскорбленная гордость, отчаяние и печаль.

— Ну, естественно, — спокойно согласился Гарлей. — Собака белых, заброшенная к антропофагам на остров Малаиту, несомненно, испытывала подобные чувства; и так же естественно жена белого человека, женушка, очаровательная женщина Вилла Кеннан, может себе представить переживания собаки и найти в ее бессмысленном визге рассказ об этих переживаниях, не замечая, что все это лишь ее собственная очаровательная, милая выдумка. Песня моря срывается с губ раковины... Вздор! Человек сам создает песню моря и приписывает ее раковине.

— А все-таки...

— А все-таки ты права, — галантно перебил он. — Всегда права, в особенности когда коренным образом ошибаешься. Разумеется, оставим в стороне таблицу умножения или мореплавание, где сама реальность ведет судно среди скал и отмелей; но в остальном ты права, тебе доступна сверхистина, которая выше всего, а именно, истина интуитивная.

— Вот ты теперь меня высмеиваешь с высоты своей мужской мудрости, — возразила Вилла. — Но я знаю... Она приостановилась, ища слова посильнее, но слова изменили ей, и она прижала руку к сердцу с таким авторитетным видом, что все слова оказались лишними.

— Согласен, преклоняюсь, — весело рассмеялся он. — Это именно то, что я сказал. Наши сердца почти всегда могут переспорить наши головы. А лучше всего то, что наши сердца всегда правы — вопреки статистике, утверждающей, будто они большей частью ошибаются.

Гарлей Кеннан так никогда и не поверил рассказу своей жены о повествовательных способностях Джерри. И всю свою жизнь, до последнего дня, считал это милой фантазией, поэтическим вымыслом Виллы.

Но Джерри, гладкошерстный ирландский терьер, действительно обладал даром речи. Хотя он и не мог обучать других, но сам был способен изучать языки. Без всяких усилий, быстро, даже не обучаясь, он стал усваивать язык «Ариеля». К несчастью, то не был урчащий и придыхательный язык, доступный собакам, какой изобрел Наласу, и Джерри, научившись понимать многое из того, что говорилось на «Ариеле», сам не мог воспроизвести ни слова. Для богини у него было по меньшей мере три имени: «Вилла», «Женушка» и «Миссис Кеннан», ибо так называли ее окружающие. Но он не мог называть ее этими именами. То был исключительно язык богов, и говорить на нем могли только боги. Он не походил на язык, изобретенный Наласу и являвшийся компромиссом между речью собак и речью богов, так что бог и собака могли между собой разговаривать.

Таким же образом выучил Джерри и различные имена мужского божества: «Мистер Кеннан», «Гарлей», «капитан Кеннан» и «Шкипер». И только присутствуя третьим в их интимном кругу, Джерри узнал другие имена: «Муженек», «Супруг», «Дорогой», «Возлюбленный», «Мое сокровище». Но никоим образом не мог Джерри выговорить эти имена.

Однако в спокойную ночь, когда ветер не шелестел в кустах, Джерри часто шепотом называл по имени Наласу.

Однажды Вилла, распустив волосы, мокрые после купания в море, сжала обеими руками морду

Джерри и, наклонившись к нему так близко, что он почти мог коснуться языком ее носа, стала напевать: «Не знаю, как его назвать, но он похож на розу!»

На другой день она повторила эту фразу и пропела почти всю песенку в самые его уши. А в разгар пения Джерри удивил ее. Пожалуй, с не меньшим правом можно сказать, что он и сам удивился. Сознательно он никогда еще так не поступал. И сделал он это без всякого умысла. Он вовсе не намеревался это делать. В самом поступке заключалось принуждение его совершить. От этого поступка он не мог воздержаться, как не мог не отряхнуться после купания или не брыкнуть во сне ногой, если его щекочут.

Когда ее голос стал мягко вибрировать, Джерри показалось, что она обволакивается перед его глазами какой-то дымкой, а сам он под влиянием нежного, томительного напева переносится в какое-то другое место. И тут он сделал удивительную вещь. Он резко, почти судорожно присел, высвободил морду из ее рук и опутывавшей паутины распущенных волос и, подняв нос кверху под углом в сорок пять градусов, начал дрожать и громко дышать под ритм ее песни. Затем так же судорожно он вздернул нос к зениту, и поток звуков полился кверху, вздымаясь и медленно ослабевая до полного замирания.

Этот вой послужил началом, и за него Джерри получил кличку «Певчий песик-дурачок». Вилла Кеннан обратила внимание на завывания, вызывавшиеся ее пением, и сейчас же занялась их развитием. Джерри всегда повиновался, когда она, усевшись, ласково протягивала к нему руки и приглашала: «Иди сюда. Певчий песик-дурачок». Он подходил, садился так, что благоухание ее волос щекотало ему ноздри, мордой прижимался к ее щеке, а нос поднимал кверху около ее уха и при первых же звуках ее тихой песни начинал вторить. Минорные мотивы особенно его провоцировали, а раз начав, он пел с ней, сколько ей хотелось.

И это действительно было пение. Способный ко всем видам звукоподражания, он быстро научился смягчать и понижать свой вой, пока он не становился мелодичным и бархатистым. И вой этот замирал чуть ли не до шепота, вздымался и падал, то ускоряя, то замедляя темп, повинуясь ее голосу.

Джерри наслаждался пением, как курильщик опиума своими грезами. Он грезил смутно, грезил наяву, с широко раскрытыми глазами, а волосы богини благоуханным облаком его окутывали, ее голос заунывно ему вторил, его сознание тонуло в грезах о нездешнем, долетавшем к нему из песни. Ему вспомнилось страдание, но страдание давно забытое и потому переставшее быть болью. Оно наполняло его сладостной грустью и уносило с «Ариеля» (ставшего на якорь в какой-нибудь коралловой лагуне) в нереальную страну, в нездешний мир.

И в такие минуты перед ним вставали видения. Казалось, он сидит в холодном мраке ночи на пустынном холме и воет на звезды, а из темноты, издалека, несется к нему ответный вой. И поднимаются другие завывания — вблизи и вдалеке, — пока ночь не зазвучит родными ему голосами. То родня его. Сам того не зная, он приобщался к «нездешнему миру».

Наласу, обучая его языку сопения и урчания, намеренно обратился к его рассудку; а Вилла, не зная, что она делает, нашла путь к его сердцу и к сердцу его предков, затронув глубочайшие струны воспоминаний о далеком прошлом и заставив их вибрировать.

Вот пример: смутные образы являлись ему иногда из ночи, как призраки, скользили мимо, и он слышал, словно во сне, охотничьи крики собачьей стаи; пульс его ускорялся, пробуждался его охотничий инстинкт, и сдержанное, мягкое подвыванне переходило в страстный визг. Его голова опускалась, освобождаясь от паутины женских волос, ноги начинали беспокойно, судорожно подергиваться, словно порываясь бежать, и в одну секунду он уносился прочь и

летел по лику времени из реальности в сон.

И подобно тому, как люди вечно жаждут зелья из мака и конопли, так и Джерри тянулся к радостям, выпадавшим на его долю, когда Вилла Кеннан открывала ему свои объятия, окутывала паутиной волос и пением уносила его сквозь время и пространство в сон, к его древним предкам.

Не всегда, однако, испытывал Джерри эти ощущения, когда они пели вместе. Обычно видения ему не являлись, и он переживал лишь смутные, сладостно-грустные настроения, похожие на тени воспоминаний. Иногда, под влиянием этой грусти, всплывали в его мозгу образы шкипера и мистера Хаггина, образы Терренса, и Бидди, и Майкла, и видения давно исчезнувшей жизни на плантациях Мериндж.

— Дорогая моя, — сказал однажды Гарлей, — счастье для Джерри, что ты не дрессировщица животных, а то ведь твое имя не сходило бы с афиш мюзик-холлов и цирков всего земного шара.

— Ну, что ж! — ответила она. — Я уверена, что он бы с восторгом выступал со мной…

— Что было бы в высшей степени необычайно, — перебил Гарлей.

— Почему?

— Один шанс из ста, что животное любит свою работу или пользуется любовью своего дрессировщика.

— Я думала, что со всякой жестокостью в этой области давным-давно покончено, — сказала Вилла.

— И публика так думает, но в девяноста девяти случаях публика ошибается.

Вилла глубоко вздохнула.

— Пожалуй, придется мне бросить такую соблазнительную и прибыльную карьеру в тот самый момент, когда ты ее для меня открыл. А как великолепно выглядели бы афиши и мое имя огромными буквами…

— Вилла Кеннан, певица с голосом дрозда, и Певчий песик-дурачок, ирландский терьер, тенор, — процитировал Гарлей заглавные строки афиши.

И Джерри, высунув язык, с бегающими глазами, присоединился к смеху. Он не знал, над кем смеются, но по смеху понял, что они счастливы, а любовь побуждала его радоваться вместе с ними.

Джерри нашел то, чего жаждал существом, — любовь божества. И он любил обоих богов, признав их совместное господство на «Ариеле». Но, пожалуй, женское божество он любил больше. Такой любви он никогда еще не испытывал, не исключая и его любви к шкиперу, а объяснялось это тем, что она проникла в глубочайшие тайники его сердца своим волшебным голосом, уносившим Джерри в нездешнюю страну.

Глава двадцать третья

Джерри вскоре узнал, что на борту «Ариеля» преследовать негров не полагается. Горя желанием понравиться и услужить своим новым богам, он воспользовался первым удобным случаем и набросился на чернокожих, которые, подъехав в пироге, поднялись на борт. Восклицание Виллы и повелительный оклик Гарлея заставили его в недоумении остановиться. Глубоко убежденный, что ошибся, Джерри снова стал бесноваться вокруг одного высмотренного им чернокожего. На этот раз голос Гарлея звучал сурово, и Джерри подошел к нему, виляя хвостом и извиваясь всем телом, словно умоляя о прощении, и лизнул своим розовым языком погладившую его руку.

Затем Вилла подозвала его к себе. Зажав руками его морду и близко к нему наклонившись, она серьезно заговорила о том, что преследовать негров грешно. Ведь он, говорила Вилла, не простая лесная собака, а кровный ирландский джентльмен, которому не подобает заниматься таким делом, как травля бездомных чернокожих. Все это он выслушал сосредоточенно, не мигая, и хотя понимал мало, но чутьем постиг все. Из языка, на каком говорили на «Ариеле», он уже усвоил слово «нехороший», а Вилла повторила это слово несколько раз. «Нехороший» он понимал как «нельзя», и для него этим словом установилось табу. Раз таковы их обычаи и желания, то может ли он нарушать их? Если негров травить нельзя, — он этого делать не станет, несмотря на то, что шкипер, бывало, сам его натравливал. Разумеется, Джерри обсуждал этот вопрос не в таких выражениях, а по-своему, но выводы были те же.

Для него любовь к богу требовала служения. Ему нравилось служением снискивать любовь. А в его положении краеугольным камнем служения было послушание. Однако первое время ему стоило величайших усилий не рычать и не кусать за ноги чужих и самоуверенных чернокожих, проходивших мимо него по белой палубе «Ариеля».

Но Джерри суждено было увидеть и иные времена. Настал день, когда Вилла Кеннан пожелала выкупаться по-настоящему, в свежей текучей пресной воде, и тут Джонни, чернокожий лоцман из Тулаги, совершил ошибку. На карте была нанесена только одна миля реки Сули, впадающей в море, ибо белые еще не исследовали ее выше. Когда Вилла заговорила о купании, ее муж посоветовался с Джонни. Джонни покачал головой.

— Нет черных парней в этом месте, — сказал он. — Не будет вам беда. Лесной парень отсюда далеко.

К берегу пристал баркас, матросы развалились в тени прибрежных кокосовых пальм, а Вилла, Гарлей и Джерри прошли с четверть мили вверх по реке до первого удобного для купания местечка.

— Все-таки нужно принять меры предосторожности, — сказал Гарлей, вынимая из кобуры свой автоматический пистолет и кладя его поверх одежды.

— Чернокожая братия может на нас наткнуться.

Вилла вошла по колени в воду, взглянула вверх, на темный свод джунглей, едва пропускавший лучи солнца, и содрогнулась.

— Самая подходящая обстановка для темного дела, — улыбнулась она и, набрав в ладонь прохладной воды, плеснула в мужа. Тот бросился за ней в погоню.

Некоторое время Джерри сидел подле их одежды и следил за купальщиками. Затем его

внимание привлекла мелькнувшая тень огромной бабочки, а вскоре он уже выслеживал по джунглям лесную крысу. То был не особенно свежий след. Джерри прекрасно это знал, но в нем хранились все древние инстинкты, побуждавшие его охотиться, красться, преследовать живые существа — короче, вести игру, будто он сам добывает себе пропитание, хотя уже в течение веков его предков кормил человек.

Он развивал способности, в каких он уже и не нуждался, хотя они все еще в нем жили и стремились пробиться. И сейчас он шел по следу давно пробежавшей лесной крысы, крался неслышно, словно настоящий охотник за дичью, и с точностью определял запах. Этот след пересекался другим следом

— свежим, совсем недавним. Джерри резко повернул голову под прямым углом направо — так резко, словно его дернули за веревку. Он носом почуял несомненный запах чернокожего. И то был совершенно незнакомый ему чернокожий, так как запах его не совпадал с воспоминаниями о тех неграх, каких он раньше встречал.

Забыт был след лесной крысы, и Джерри бросился по новому следу. К этому побуждало его любопытство, и увлечение игрой. Ему в голову не приходило бояться за Виллу и Гарлея — даже когда он дошел до того места, где чернокожий, видимо, услышав их голоса, остановился в нерешимости и где его следы сохранили особенно сильный запах. Отсюда след резко сворачивал к реке. Нервно напряженный и внимательный, все еще не тревожась, а только продолжая играть в слежку, Джерри побежал по следу.

Время от времени с реки доносились возгласы и смех, и, заслышав их, Джерри всякий раз испытывал радостный трепет. Если бы его спросили и он сумел бы выразить свои ощущения, он бы сказал, что самый приятный звук в мире — звук голоса Виллы Кеннан, а затем — Гарлея Кеннана. Их голоса всегда приводили его в трепет, напоминая о том, как он их любит и как они любят его.

При первом же взгляде на незнакомого негра, остановившегося у самой воды, в Джерри проснулись подозрения. Негр держался не так, как полагается обыкновенному чернокожему, не замышляющему ничего дурного. Напротив, все его движения обличали человека, действующего с преступным замыслом. Присев на ковер джунглей, негр выглядывал из-за большого корня дерева. Джерри ощетинился, тоже припал к земле и стал наблюдать.

Один раз чернокожий поднял было ружье к плечу, но ничего не подозревающие жертвы с плеском и хохотом скрылись, по-видимому, из поля его зрения. А ружье у него было не снайдеровское, довольно уже устарелое, а современный автоматический винчестер. И негр, по-видимому, привык стрелять с плеча, а не держа приклад у бедра, как большинство малаитян.

Недовольный своей позицией у дерева, он опустил ружье и пополз ближе к воде. Джерри приник к земле и последовал за ним. Приник он так низко, что голова, горизонтально вытянутая вперед, была значительно ниже плеч, который странно возвышались над всем туловищем. Когда чернокожий останавливался, немедленно останавливался и Джерри — словно примерзал к земле. Когда чернокожий снова трогался в путь — полз и Джерри, но быстрее, сокращая разделявшее их расстояние. И все время шерсть на шее и плечах щетинилась под наплывом ярости и злобы. То была не золотистая собака с прижатыми ушами и смеющейся мордой, нежащаяся в объятиях богини, не Певчий песик-дурачок, грезящий в облачной паутине ее волос, но четвероногое воинственное существо, боец с оскаленными клыками, которые рвут и уничтожают.

Джерри намеревался перейти в атаку, как только подползет достаточно близко. Он забыл о

табу, усвоенном на «Арнеле» и воспрещающем травлю негров. В этот момент в его сознании не оставалось места для табу. Знал он только, что беда грозит мужчине и женщине, грозит со стороны этого негра.

Джерри почти нагнал свою добычу, и когда чернокожий присел и поднял ружье, Джерри счел момент благоприятным для прыжка. Ружье почти коснулось плеча, когда он прыгнул вперед. Прыгая, он не произвел ни малейшего звука, и его жертва почувствовала его присутствие, только когда тело Джерри, мелькнув, как снаряд, очутилось между лопатками чернокожего. В ту же секунду зубы Джерри вонзились в шею, но слишком близко к основанию, в крепкие плечевые мышцы, так что клыки не задели спинного мозга.

Чернокожий, ошеломленный и испуганный, нажал спуск, и из груди его вырвался дикий вопль. Отдача была так сильна, что он перевернулся и сцепился с Джерри, который куснул его за скулу и за щеку и полоснул ухо: ирландские терьеры обычно кусают быстро и часто, а не мертвой хваткой, как бульдоги.

Когда Гарлей Кеннан, с револьвером в руке и нагой, как Адам, прибежал на место сражения, собака и человек, сцепившись, катались по лесному чернозему. Негр, по лицу которого струилась кровь, обеими руками сжимал шею Джерри, а Джерри, сопя, задыхаясь и рыча, изо всех сил отбрыкивался и царапался когтями задних лап. То были когти не щенка, а взрослого мускулистого пса. Джерри все время царапал ими обнаженную грудь и живот, покрасневшие от струившейся крови.

Гарлей Кеннан стрелять не решался, так как противники слишком тесно переплелись. Вместо того он, подойдя вплотную, ударил негра по голове рукояткой револьвера. Оглушенный негр разжал руки, а Джерри в одну секунду кинулся к выпятившемуся горлу, и только рука Гарлея, схватившая его за загривок, и резкий окрик заставили его отступить. Он дрожал от бешенства и продолжал яростно рычать, но все же прижимал уши, вилял хвостом и вскидывал глаза на Гарлея, когда тот говорил: «Молодчина!»

Джерри знал, что «молодчина» означает похвалу. Гарлей несколько раз повторил это слово, и Джерри убедился, что оказал своему господину услугу, и услугу немалую.

— Знаешь, негодяй хотел пристрелить нас из-за кустов, — обратился Гарлей к Вилле, когда та, на ходу одеваясь, присоединилась к нему. — Здесь не больше пятидесяти шагов, он не мог промахнуться. И посмотри, какой у него винчестер. Это не какая-нибудь старая гладкостволка. Раз у парня такое ружье, уж он умеет им пользоваться.

— Почему же он нас не пристрелил? — осведомилась Вилла.

Гарлей указал на Джерри.

У Виллы глаза вспыхнули, когда она поняла.

— Что ты говоришь?.. — начала она.

Он кивнул.

— Вот именно. Певчий песик-дурачок ему помешал. — Гарлей наклонился, перевернул чернокожего и увидел разодранную шею.

— Вот куда он его цапнул, а тот, должно быть, держал пальцы на спуске, целясь в нас, — вероятно, в меня первого, — когда Певчий песик-дурачок смешал ему все карты.

Но Вилла почти не слушала, она обнимала Джерри, называя его «своим дорогим песиком», и старалась утишить его рычание и пригладить все еще ерошившуюся шерсть.

Но Джерри снова зарычал и собрался прыгнуть на чернокожего, когда тот беспокойно зашевелился и сел, все еще оглушенный. Гарлей выдернул у него нож, засунутый между поясом и голым телом.

— Как звать? — спросил он.

Но негр видел только одного Джерри, изумленно таращил на него глаза, пока не уяснил себе положения и не понял, что этот маленький неуклюжий пес испортил ему игру.

— Мой говорит, — ухмыляясь, обратился он к Гарлею, — этот собака здорово моего поймал.

Ощупывая раны на шее и на лице, он увидел, что белый завладел его ружьем.

— Отдай мое ружье, — дерзко сказал он.

— Я тебе им голову прошибу, — ответил Гарлей. — По-моему, этот парень не похож на малаитянина, — обратился он к Вилле. — Прежде всего, где он достал такое ружье? И подумай, что за дерзость? Он должен был видеть, как мы стали на якорь, и знал, что наш баркас стоит у берега. И все же он хотел захватить наши головы и удрать с ними в лес… Как звать? — снова обратился он к негру.

Но имени чернокожего он не узнал до тех пор, пока не прибежали запыхавшиеся матросы с баркаса и Джонни. Увидев пленника, Джонни выпучил глаза и, заметно волнуясь, обратился к Кеннану.

— Вы дайте мне этот парень, — попросил он. — А? Дайте мне.

— Да зачем он тебе?

На этот вопрос Джонни ответил не сразу, а лишь после того, как Кеннан сообщил ему о своем намерении отпустить чернокожего, так как тот никому вреда не причинил. Тут Джонни с жаром запротестовал.

— Вы везите этот парень в Тулаги, в дом правительства: вам дадут двадцать фунтов. Он много злой парень. Ему звать Макавао. Много злой. Он из Квинсленда…

— Как из Квинсленда? — перебил Кеннан. — Он оттуда родом?

Джонни покачал головой.

— Он был раньше с Малаита. Много-много годов назад его взял шкуна работать на Квинсленде.

— Он работал на квинслендских плантациях, — пояснил Гарлей Вилле. — Ты знаешь, когда в Австралии начался «белый» наплыв, пришлось с квинслендских плантаций отослать всех черных назад. Этот Макавао, видимо, один из них, и, должно быть, дрянной парень, если Джонни не врет относительно двадцати фунтов вознаграждения за поимку его. Это большая цена за черного.

Джонни продолжал свои объяснения, какие, в переводе на общепринятый английский, сводились к тому, что Макавао всегда пользовался дурной славой. В Квинсленде он провел в тюрьме четыре года за кражи, грабежи и покушение на убийство. Когда австралийское

правительство отослало его назад на Соломоновы острова, он завербовался на плантацию Були, — как впоследствии выяснилось, с целью добыть оружие и патроны. За покушение на убийство надсмотрщика он получил в Тулаги пятьдесят ударов плетью и прослужил лишний год. Вернувшись на плантацию в Були, чтобы отработать свой срок, он ухитрился, воспользовавшись отсутствием надсмотрщика, убить владельца плантации и удрать на вельботе.

В вельбот Макавао забрал все оружие и патроны, бывшие на плантации, голову хозяина, десять рабочих-малаитян и двух из Сан-Кристобаля — последних потому, что они были приморскими жителями и умели обращаться с вельботом. Сам же он и десять малаитян, как жители лесов, моря не знали и не решались на длинный переезд с Гвадалканара.

По пути он сделал набег на маленький остров Уги, разграбил все запасы и захватил голову одинокого торговца, добродушного полукровки с острова Норфолк. Благополучно прибыв на Малаиту, он и его товарищи, не видя более нужды держать двух рабочих из Сан-Кристобаля, отрубили им голову, а тела съели.

— Мой говорит, он много-много злой парень, — закончил свой рассказ Джонни. — Правительство Тулаги много рад дать двадцать фунтов за парень.

— Ах ты, дорогой мой Певчий песик-дурачок! — прошептала Вилла на ухо Джерри. — Если бы не ты…

— Наши головы находились бы сейчас у Макавао, а он пробирался бы с ними по холмам к себе на родину, — докончил за нее Гарлей. — Что и говорить, славный пес, — весело прибавил он. — А я-то как нарочно задал ему на днях взбучку за травлю негров. Оказывается, он свое дело знал лучше, чем я.

— Если кто-нибудь вздумает предъявлять на него права… — угрожающе пробормотала Вилла.

Гарлей кивком подтвердил ее оборвавшуюся фразу.

— Во всяком случае, — с улыбкой сказал он, — хоть одно утешение было бы, если б твоя голова отправилась в джунгли.

— Утешение? — воскликнула она, захлебнувшись от негодования.

— Ну, конечно! Ведь и моя голова отправилась бы вместе с твоей!

— Ах ты, дорогой мой муженек! — прошептала она, и глаза ее подернулись влагой, когда она любовно на него взглянула, все еще прижимая к себе Джерри. А Джерри, почуяв важность момента, лизнул ее душистую щеку.

Глава двадцать четвертая

«Ариель» отошел от Малу на северо-западном берегу Малаиты, и скоро Малаита скрылась из виду. Для Джерри она скрылась навеки — еще один исчезнувший мир, который в его сознании провалился в небытие, поглотившее и шкипера. Если бы Джерри стал о том размышлять, он бы представил себе Малаиту как обезглавленную вселенную, покоящуюся на коленях какого-то младшего бога, который все же был бесконечно могущественнее Башти, на чьих коленях лежала высушенная солнцем и прокопченная дымом голова шкипера. И это младшее божество выпытывало, нащупывало и пыталось угадать тайны пространства и времени, движения и

материи, вверху, внизу, вокруг и над собой.

Но Джерри не размышлял над этой проблемой, не подозревал о существовании таких тайн. Он вспоминал об исчезнувшей Малаите, как вспоминал о своих снах. Сам он был существом живым, материальным, обладающим весом и объемом, неопровержимо реальным, и двигался в пространстве бытия — конкретном, осязаемом, живом и убедительном, являвшемся Абсолютным нечто. А то нечто было окружено тенями и призраками изменчивой фантасмагории небытия.

Джерри принимал свои миры один за другим. Один за другим они испарялись, скрываясь из поля его зрения, погружались навек ниже уровня океана, нереальные и преходящие, как сновидения. Целостность маленького, простого мира людей, микроскопического и ничтожного по сравнению со звездной вселенной, была недоступна его догадкам так же, как недоступна звездная вселенная вдохновеннейшим прозрениям и измышлениям человека.

Джерри не суждено было снова увидеть мрачный остров дикарей, хотя он часто вставал перед ним в сновидениях, и Джерри во сне переживал свои дни на нем, начиная с уничтожения «Эренджи» и оргии людоедов на берегу и кончая бегством от разрушенного снарядом дома и растерзанного тела Наласу. Эти сновидения были для него еще одной страной нездешнего, таинственного, нереальной и эфемерной, как облака, проплывающие по небу, или радужные пузыри, лопающиеся на поверхности моря. То была пена, быстро исчезающая, едва он просыпался, несуществующая, как шкипер и голова шкипера на высохших коленях Башти в высоком травяном доме. Малаита реальная, Малаита конкретная и весомая исчезла — и исчезла навсегда — в небытие, куда скрылся Мериндж, куда скрылся шкипер.

От Малаиты «Ариель» взял курс на северо-запад к Онгтону, Яве и Тасмании — большим атоллам, которые изнемогают от жары под самым экватором и заливаются волнами в необъятном просторе юго-западной части Тихого океана. Оставив Тасманию, «Ариель» проделал длинный рейс к гористому острову Бугенвиль. После Бугенвиля, держась на юго-запад и медленно лавируя против ветра, «Ариель» отдавал якорь почти в каждой гавани Соломоновых островов, от Шуазеля и Гононго до острова Куламбангра, Вангуну, Павуву и Новой Георгии. Он отдал якорь даже в пустынной Бухте Тысячи Кораблей.

И, наконец, якорь «Ариеля» с грохотом упал и впился в песчано-коралловое дно гавани Тулаги, где на берегу острова Флориды жил и правил верховный комиссар.

Ему Гарлей Кеннан передал Макавао, который был посажен под хорошей охраной в травяную тюрьму; здесь, с кандалами на ногах, ему предстояло ждать суда за многочисленные преступления. А лоцман Джонни, прежде чем вернуться на службу к резиденту, получил львиную долю из назначенных в премию денег; остальную сумму Кеннан распределил между матросами, которые бросились сквозь джунгли к нему на выручку в тот день, когда Джерри вцепился в шею Макавао и заставил его, не целясь, нажать спуск ружья.

— Я вам скажу его имя, — говорил резидент, усадив их на широкой веранде своего бунгало. — Это один из терьеров Хаггина — Хаггина с лагуны Мериндж. Отца собаки зовут Терренс, а мать — Бидди. А его имя — Джерри; я сам присутствовал при крещении, когда он был еще слепым щенком. Мало того, я могу вам показать его брата Майкла. Он охотник за неграми на «Евгении», двухмачтовой шхуне, которая стоит на рейде рядом с вами. Шкипером на ней капитан Келлар. Я попрошу его доставить Майкла на берег. Вне всякого сомнения, Джерри один только и уцелел из всех, находившихся на борту «Эренджи».

— Когда у меня будет время и необходимые средства, я нанесу визит вождю Башти. О нет,

программы британских крейсеров я придерживаться не стану. Зафрахтую парочку торговых кечей, заберу свою чернокожую полицию и тех белых добровольцев, каким не смогу отказать. Никакого обстрела травяных шалашей не будет. Десант я высажу, не доходя до Сомо, зайду в глубь страны, а к Сомо подойду с тыла; одновременно мои суда подступят к Сомо с моря.

— На бойню ответите бойней? — возразила Вилла Кеннан.

— На бойню я отвечу законом, — заявил комиссар. — Я научу Сомо закону. Надеюсь, ничего неприятного не случится, и ни с той, ни с другой стороны потерь не будет. Но могу обещать, что головы капитана Ван Хорна и его помощника Боркмана я разыщу и доставлю в Тулаги для христианского погребения. А старого Башти возьму за загривок и заставлю посидеть, пока я буду внедрять в него закон и справедливость. Разумеется… — комиссар, окончивший Оксфордский университет, узкоплечий пожилой человек с видом аскета, близорукий и в очках, как и подобает ученому, приостановился и пожал плечами, — разумеется, если не удастся образумить, возможны неприятности, и кому-нибудь из них и из нас придется скверно. Но, так или иначе, своего мы добьемся. Старый Башти поймет, что целесообразнее оставлять на плечах головы белых.

— Да как он поймет? — спросила Вилла Кеннан. — Если он достаточно умен, чтобы не сражаться с вами, а только сидеть и поучаться английским законам, дело обернется для него отменной забавой. В наказание за всякую жестокость ему придется только выслушать лекцию.

— Не совсем, дорогая моя миссис Кеннан. Если он будет спокойно слушать лекцию, я потребую с него всего только сто тысяч кокосовых орехов, пять тонн других пальмовых орехов, сто саженей раковин и двадцать жирных свиней. Если же он откажется выслушать лекцию и приступит к военным действиям, тогда я, как это ни печально, вынужден буду прежде всего расправиться с ним и с его поселком, а затем потребую с него тройной штраф и уже в немногих словах внедрю в него закон.

— А если он драться не станет, в ответ на вашу лекцию заткнет себе уши и откажется платить? — настаивала Вилла Кеннан.

— Тогда он пожалует ко мне в гости — сюда, в Тулаги — и будет здесь сидеть, пока не одумается, не заплатит штрафа и не выслушает полного курса лекций.

А Джерри привелось услышать свое старое имя от Виллы и Гарлея и снова увидеть своего кровного брата Майкла.

— Не говори ничего, — шепнул Гарлей Вилле, когда они разглядели мохнатого пшенично-рыжего Майкла, выглядывавшего из-за борта подходившего к берегу вельбота. — Сделаем вид, будто мы ничего не знаем и никакого внимания на них не обращаем.

Джерри, прикидываясь сильно заинтересованным, рыл яму в песке, словно напал на свежий след, и не подозревал о приближении Майкла. Он быстро увлекся и заинтересовался по-настоящему, когда, радостно фыркая и сопя, очутился на дне вырытой им ямы. А яма была такая глубокая, что от Джерри виднелись только задние лапы да забавно торчащий обрубок хвоста.

Не чудо, что он и Майкл не заметили друг друга. Майкл, вырвавшись на свободу с тесной палубы «Евгении», радостно суетясь, помчался по берегу, на бегу ловя тысячи знакомых запахов суши. Он бросался из стороны в сторону, прыгал и добродушно щелкал зубами при виде крабов, торопливо перебегавших ему дорогу, ища спасения в воде, или пятившихся и угрожавших ему своими огромными клешнями.

Пляж был не длинный и упирался в шероховатую стену мыса. Пока комиссар представлял капитана Келлара мистеру и миссис Кеннан, Майкл уже несся назад по влажному, плотному песку. Все до такой степени его интересовало, что он и не заметил Джерри. Джерри о его присутствии узнал по слуху, и едва успел, попятившись, выбраться из ямы, как Майкл уже на него налетел. Джерри перекувыркнулся, Майкл перелетел через него, и оба свирепо зарычали. Поднявшись на ноги, они ощетинились, оскалили зубы и грозно, с достоинством стали обходить один другого степенной, напряженной походкой.

Но все это время они только дурачились и были немного сбиты с толку. У каждого в мозгу всплыли яркие картины прошлого — дом на плантации и берег Мериндж. Они узнали друг друга и мешкали. Они уже не были щенками и, смутно гордясь своей степенностью и возмужалостью, старались держаться с достоинством, хотя им ужасно хотелось в сумасшедшем восторге броситься друг к другу.

Майкл, меньше видевший свет и по натуре своей менее сдержанный, чем Джерри, первый отбросил напускное достоинство и, взвизгивая от волнения и восторженно извиваясь всем телом, высунул язык и прильнул к брату плечом.

Джерри с таким же пылом его лизнул, затем оба отскочили в сторону и вопросительно, почти вызывающе поглядели друг на друга. Настороженные уши Джерри выражали живой вопрос; у Майкла одно здоровое ухо вопрошало столь же красноречиво, а другое, высохшее, стояло, по обыкновению, торчком. И вдруг они стремглав помчались по берегу бок о бок, пересмеиваясь и то и дело подталкивая друг друга на бегу.

— Сомнений быть не может, — сказал комиссар. — Так же точно, бывало, бегали их родители. Я частенько к ним присматривался.

Но через десять дней наступила разлука. То был первый визит Майкла на борт «Ариеля», и он с Джерри провел веселые полчаса, резвясь на белой палубе среди суматохи и гула, пока поднимали шлюпки, ставили паруса и поднимали якорь. Когда «Ариель» заскользил по воде, а паруса надулись под свежим пассатным ветром, комиссар и капитан Келлар распрощались и прошли по шкафуту к поджидавшим их вельботам. В самый последний момент капитан Келлар поднял Майкла, сунул его под мышку и вместе с ним прыгнул на корму своего вельбота.

Концы были отданы; на корме обеих шлюпок белые люди стояли с непокрытыми головами, презирая палящее тропическое солнце и посылая последние приветы. А Майкл, заразившись всеобщим возбуждением, тявкал без конца.

— Попрощайся с братом, Джерри, — шепнула на ухо Вилла Кеннан, подняв терьера на поручни и обеими руками придерживая за трепетавшие бока.

А Джерри, не понимая слов и раздираемый противоречивыми желаниями, в ответ стал извиваться всем телом, повернул голову, лизнул свою госпожу языком, а через секунду снова свесил голову за борт, следя за быстро уменьшавшимся Майклом, и завыл от горя, совсем так, как выла его мать Бидди, когда он отплывал со шкипером.

Джерри понимал значение разлуки, и сейчас не сомневался, что расстается с братом; ему и в голову не приходило, что он встретит Майкла спустя несколько лет, по ту сторону мира, в сказочной долине далекой Калифорнии, где они проживут до конца дней своих в ласковых объятиях возлюбленных богов.

Майкл, поставив передние лапы на планшир, тявкал вопросительно и недоуменно, а Джерри отвечал ему визгом. Богиня успокаивающе сжала его бока, а он повернулся к ней и ткнулся

влажным носом в ее щеку. Одной рукой она прижимала его к своей груди, свободная рука, полураскрытая, покоилась на поручнях — бело-розовое сердце цветка, ароматное и соблазнительное. Джерри подсунул к ней нос. Полураскрытая рука манила. Протискивая и всовывая морду, он слегка раздвигал пальцы, пока нос его не очутился в ее пленительной, душистой руке.

Джерри успокоился, втиснув свою золотистую морду по самые глаза, и замер, позабыв об «Ариеле», под напором ветра поворачивавшемся к солнцу, позабыв о Майкле, который все уменьшался по мере того, как увеличивалось расстояние до вельбота. И Вилла замерла. Оба ушли в игру, хотя для нее это было ново.

Джерри не шевелился, пока хватало выдержки. Потом волна любви захлестнула его, и он засопел — так же громко, как засопел когда-то, сунув морду в руку шкипера на палубе «Эренджи», — и как тогда шкипер, так и теперь богиня рассмеялась журчащим любовным смехом. Пальцы ее почти до боли стиснули морду Джерри. Другой рукой она так крепко прижала его к себе, что он едва мог вздохнуть. Однако он все время мужественно вилял обрубком хвоста, а высвободившись из восхитительного объятия, прижал уши и, лизнув ее в щеку алым языком, схватил зубами ее руку и оставил на нежной коже отпечаток любовного укуса, который боли не причиняет.

Так исчезли для Джерри Тулаги и бунгало комиссара на вершине холма. Исчезли суда, стоявшие на рейде, и Майкл, его кровный брат. Джерри привык к таким исчезновениям. Так же ведь исчезали, как сонные грезы, Мериндж, Сомо и «Эренджи». Так исчезали все миры, гавани, рейды и атолловые лагуны, откуда уходил «Ариель», чтобы плыть дальше по необъятному простору моря.

Краткий словарь морских терминов и выражений

А б е р р а ц и я — кажущееся смещение звезд вследствие того, что за время, пока свет от них доходит до Земли, она успевает сделать несколько оборотов по своей орбите и находится уже в другой точке, с которой звезды усматриваются в каком-то отличном от первоначального положении.

А т о л л — кольцеобразный остров, представляющий собой узкую полоску суши, окружающую внутреннее, относительно мелководное озеро — лагуну.

Б а к — носовая часть верхней палубы судна.

Б а к ш т а г и б у ш п р и т а — (ватер-бакштаги и утлегарь-бакштаги) — снасти, удерживающие с боков бушприт и его переднее продолжение — утлегарь.

Б а н к а — здесь сиденье для гребцов в шлюпке.

Б а р к а с (барказ) — большая многовесельная шлюпка либо небольшое парусно-гребное беспалубное рыбачье судно.

Б а т а л е р — лицо, ведающее на судне припасами, главным образом продовольственными.

Б е й д е в и н д — курс судна, при котором ветер дует ему несколько спереди. Различают полный бейдевинд, когда ветер почти боковой, и крутой бейдевинд, когда судно идет под более острым (порядка 45°) углом к линии ветра.

Б и з а н ь-в а н т ы — ванты задней мачты (бизань-мачты).

Б и з а н ь-м а ч т а — самая задняя мачта на трех— и более мачтовых судах, а также на так называемых «полуторамачтовых» судах типа кеча и йола, у которых задняя мачта значительно меньшего размера, чем передняя.

Б и м с ы — поперечные связи судна, на которые сверху настилается палуба.

Б о ц м а н — старшина так называемой палубной (в отличие от машинной) команды на судне, то есть непосредственный начальник всех матросов.

Б р и г — двухмачтовое парусное судно с прямым парусным вооружением.

Б у г е л ь — железное кольцо или обруч из полосового железа, здесь надетое на бревно (гик), по которому растягивается нижняя кромка (шкаторина) паруса грота, и служащее для крепления к нему верхнего блока грота-шкота.

Б у к с и р — здесь трос, на котором судно что-либо тянет — буксирует за собой. Слово «буксир» употребляется также в смысле «буксирное судно».

Б у л и н ь — снасть, служащая для оттягивания вперед нижних углов прямых трапециевидных парусов с той стороны, откуда дует ветер, здесь, то есть на марсельной шхуне, булинь фор-марселя.

Б у р т и к — полукруглая рейка, окаймляющая снаружи борт шлюпки для предохранения ее от случайных ударов.

Б у ш п р и т — наклонное или горизонтальное рангоутное дерево, торчащее вперед с носа судна. Служит для крепления тросов — штагов, — удерживающих мачту спереди, и вынесения вперед косых треугольных парусов — кливеров и стакселей.

В а н т ы — снасти, удерживающие с боков мачты и их верхние продолжения — стеньги.

В а н т-п у т е н с ы — вертикальные металлические полосы, цепи или прутья, укрепленные с наружной стороны борта судна и служащие для крепления к ним нижних концов вант.

В а т е р з е й с — желоб для стока воды, идущий вдоль борта судна.

В а х т е н н ы й (судовой) ж у р н а л — книга, в которую в хронологическом порядке из вахты в вахту записываются все обстоятельства плавания судна и в том числе его местонахождение и курс.

В е л ь б о т — быстроходная шлюпка с заостренными носом и кормой.

В о д о и з м е щ е н и е — вес судна, равный, согласно закону Архимеда, весу вытесненной им воды.

В ы б л е н к и — веревочные (иногда деревянные или из металлических прутков) поперечины, соединяющие рядом стоящие тросы-вантины, образующие ванты и служащие ступеньками для подъема на мачты и их верхние продолжения — стеньги.

В ы в а л и т ь ш л ю п к у — развернуть поворотные балки, на которых висит шлюпка (шлюпбалки), таким образом, чтобы шлюпка оказалась висящей не над палубой, а за бортом над водой.

Г а л с — снасть, которой растягиваются наветренные углы парусов. Поэтому если ветер дует в паруса справа, то говорят, что судно идет правым галсом, а если слева, то левым галсом. Переменить галс, лечь на другой галс — повернуть так, чтобы ветер дул в паруса с другой стороны. Для этого при повороте на парусном судне перекидывают косые паруса с одного борта на другой.

Г а р п у н е р (гарпунщик) — специалист по бою китов и другого крупного морского зверя гарпуном, то есть тяжелой острогой, имеющей острый наконечник с отогнутыми назад зубьями, которые, попадая в тело животного, увязают в нем.

Г р о т — главный парус на грот-мачте; здесь, на судне с парусным вооружением типа кеча, самый нижний и большой косой парус на первой мачте от носа судна.

Г р о т а-ф а л ы — снасти для подъема и удержания в требуемом положении паруса грота.

Д е в и а ц и я (магнитного компаса) — отклонение магнитной стрелки компаса на судне от положения, которое она занимает на земле (магнитный меридиан), под воздействием судового железа.

Д р е д н о у т — английский броненосец, явившийся прототипом класса самых больших и мощных военных кораблей — линкоров. Здесь образное сравнение кита с этим кораблем.

Д р е й ф — снос судна ветром. Дрейфовать — перемещаться по ветру, не имея собственного хода вперед. Лечь в дрейф — не становясь на якорь, убрать паруса или так расположить их, чтобы они не сообщали судну движения.

Д ю й м — мера длины, равная 25,4 миллиметра.

З а в е р н у т ь — здесь закрепить ходовые, то есть свободные, концы талей, завернув их восьмерками за специальные приспособления — утки, нагели или кнехты.

З а г р е б н о й — гребец, сидящий на загребных веслах, то есть на первой паре весел, считая от кормы шлюпки. По этому гребцу равняются все остальные.

К а б о т а ж — прибрежное плавание, сообщение между портами одной и той же страны. Каботажное судно — судно, плавающее в каботаже.

К а м б у з — кухня на судне.

К а ю т-к о м п а н и я — помещение для приема пищи и отдыха начальствующего состава судна.

К в а р т а — мера жидких и сыпучих грузов, равная около 1,13 литра, то есть одна четверть галлона, который составляет 4,54 литра.

К е ч — небольшое парусное судно с двумя мачтами: передней — гротом — большего размера и задней — бизанью — меньшего размера, — имеющее не один, а несколько парусов на грот-мачте и косые паруса между мачтами.

К и л ь — продольный брус в нижней части судна, простирающийся от носа до кормы и служащий основанием, к которому крепятся остальные детали набора судна — корабельного скелета.

К л и в е р — косой треугольный парус, обычно второй спереди, поднимаемый над носом судна. Вынести кливер ни ветер — оттянуть его задний угол навстречу ветру так чтобы он надул кливер в обратную сторону.

К о м и н г с — сплошное вертикальное ограждение, предохраняющее вырезы в палубе от заливания их водой, здесь — высокий порог, предохраняющий рубку от попадания в нее воды через дверь.

К о н т р-б и з а н ь (контра-бизань) — здесь косой парус, поднимаемый на задней мачте судна.

К о н ц ы — различные снасти, веревки на судне. Это слово обычно употребляется применительно к сравнительно коротким снастям или снастям, укрепленным одним концом к чему-либо.

К о р м о в о й п о д з о р — нависающая над водой часть кормы судна.

К о ч е г а р к а — помещение, в которое выходят топки судовых котлов и где работают обслуживающие их кочегары.

К р ю й с-п е л е н г — способ определения места судна по двум разновременным пеленгам одного и того же предмета, курсу и расстоянию, пройденному за время между наблюдениями.

К у б р и к — общее жилое помещение для команды на судне.

К у р с — направление, по которому идет судно. Различают курс по компасу, то есть в какую сторону направлен нос судна относительно частей света (север, юг, запад, восток), и курс относительно ветра, то есть какой угол составляет продольная плоскость судна с линией ветра.

К у т т е р — см. Тендер.

Л а г у н а — узкий и длинный залив, параллельный берегу и образованный песчаной или галечной косой, идущей от берега. Лагуной также называют сравнительно мелководное озеро внутри кольцеобразного кораллового острова — атолла.

Л и к т р о с ы — мягкие тросы, которыми обшиваются кромки парусов.

Л о ц м а н — человек, хорошо знакомый с условиями плавания в определенном, чаще всего прибрежном районе. Обязанность лоцмана — давать советы капитану при проводке судна в опасных и трудных местах.

Л о ц м а н с к о е с у д н о — судно, обычно небольшое, служащее для доставки лоцманов на прибывающие с моря суда и снятия их с уходящих в море судов после того, как их лоцманская проводка закончена.

М а р с ы (марсовые площадки) — на парусных судах площадки, встраиваемые в местах соединения мачт с их верхними продолжениями — стеньгами — и служащие для разноса в сторону бортов судна вант (стень-вант), удерживающих последние с боков. Марсовые — матросы, работающие на марсовых площадках.

М а р т и н-ш т а г — снасть, удерживающая снизу переднее продолжение бушприта — утлегарь — и доходящая до имеющейся в нижней части бушприта вертикальной распорки — мартин-гика.

М и л я м о р с к а я — основная единица расстояния на море, равная одной минуте (1') дуги земного меридиана, или 1852 метрам. В США длина морской мили принимается равной 18532 метра. Для измерения расстояний на суше в США и Англии принята статутная миля, равная 1 609 метрам.

М у с с о н ы — ветры тропического пояса, дующие зимой с материков на океаны, а летом — в обратном направлении. В западной части Тихого океана зимой дуют северо-западные муссоны, а летом — юго-восточные муссоны. Три муссона тому назад — то есть примерно полтора года тому назад, так как муссоны меняются два раза в год.

Н а в и г а ц и я — здесь в широком смысле этого слова, то есть штурманская наука о вождении судов. В узком смысле этого слова раздел этой науки, излагающий методы вождения и определения на карте места судна по береговым предметам и путем расчета пройденного расстояния и направления (счисления).

Н а д с т р о й к и — закрытые помещения на верхней палубе, простирающиеся от борта до борта во всю ширину судна.

Н а й т о в ы — тросовые и цепные крепления. Найтовить — крепить неподвижно с помощью тросов.

Н а к т о у з — привинченная к палубе тумба с надетым сверху колпаком, под которым устанавливается компас. Снабжается приспособлением для освещения компаса.

Н о р д-о с т — северо-восток.

Н о р д-н о р д-о с т ч е т в е р т ь к о с т у — направление по компасу, означающее северо-северо-восток и еще четверть румба к востоку (1 румб равен 1/32 части окружности горизонта или углу в 11 1/4°).

О б в о д ы — очертания корпуса судна.

О с т-н о р д-о с т — направление, среднее между востоком и северо-востоком.

О т в а л и в а т ь — отходить от причала или от борта другого судна.

О т д а т ь — отвязать, отпустить ранее закрепленную снасть или конец. Отдать фалы — отпустить фалы, чтобы спустить парус. Отдать якорь — освободить якорь от удерживающих его креплений, чтобы он упал за борт.

О ш в а р т о в а т ь с я — подойти вплотную и закрепиться тросами к причалу, берегу или другому судну. Здесь в переносном смысле, то есть подъехать на машине к подъезду отеля.

П а й о л — дощатый настил, покрывающий дно судна.

П а л у б а — сплошное горизонтальное перекрытие на судне, а также пол в каюте. Палуба рубки — верхнее перекрытие, крыша рубки.

П а р о в а я ш х у н а — шхуна, оснащенная, кроме парусов, также паровым двигателем.

П а с с а т ы, п а с с а т н ы е в е т р ы — постоянные и довольно сильные ветры, дующие в океанах. Направление их хотя и не всегда строго постоянно, но сохраняется в определенных пределах (к северу от экватора наблюдаются преимущественно северо-восточные, а к югу от

экватора — юго-восточные пассаты).

П е л е н г — направление по компасу с судна на какой-либо предмет. Прокладывая на карте пеленги двух или более ориентиров, определенные одновременно, получают в их пересечении место судна.

П л а н ш и р (планширь) — брус скругленного сечения, окаймляющий на мелких беспалубных судах борт судна, а на более крупных палубных судах верхнее продолжение борта — фальшборт.

П о д б и р а т ь — подтягивать, подобрать — подтянуть снасть, конец или якорную цепь.

П о д в е т е р (руль) — то есть в ту сторону, куда дует ветер.

П о л у б а к — возвышенный уступ (надстройка) в носовой части судна. Под полубаком обычно располагались жилые помещения для матросов.

П о л у ю т — возвышенный уступ (надстройка) в кормовой части судна. Под полуютом обычно располагались каюты капитана и его помощников.

П р и б о р к а — уборка на судне.

П р о к л а д к а к у р с а — нанесение на карту пути корабля и пройденного расстояния и направления.

П р я м о п о н о с у — точно впереди по направлению движения судна.

Р а н г — здесь класс корабля. По сравнению с крейсерами 1-го ранга крейсеры 2-го ранга имели меньшие размеры, броню и вооружение.

Р е и — длинные горизонтальные поперечины, подвешенные за середину к мачтам и служащие для крепления верхнего края прямых трапециевидных парусов.

Р е й д — водное пространство в пределах порта или в непосредственной близости от него, удобное для якорной стоянки, здесь — открытый рейд, то есть рейд, не защищенный берегом либо оградительными гидротехническими сооружениями.

Р и ф ы — здесь гряда коралловых образований, скрытых под водой или едва выступающих над ее поверхностью. Рифами называются также завязки на парусах, с помощью которых при необходимости уменьшают площадь парусов.

Р у б к а — закрытое помещение, выступающее над верхней палубой и не доходящее до бортов судна.

Р у л е в о й п р и в о д — тросовая, цепная или другая механическая передача, посредством которой вращение штурвала передается рулю.

Р у м п е л ь — рычаг, насаженный на верхнюю часть (голову) руля, с помощью которого руль поворачивают.

С а л и т (салинговая площадка) — на парусных судах площадка в виде рамы, устраиваемая в месте соединения стены с ее верхним продолжением — брам-стеньгой — и служащая для разноса в сторону бортов судна вант (брам-стень-вант), удерживающих последнюю с боков.

С к л о н е н и е (компаса) — отклонение магнитной стрелки компаса от истинного меридиана вследствие того, что магнитные силовые линии Земли не совпадают с ними по направлению. Склонение компаса не одинаково в разных местам земного шара и изменяется со временем.

С к л я н к и, б и т ь с к л я н к и — отмечать время ударами в судовой колокол (рынду). Один удар соответствует получасу, двойной удар — часу. Через каждые четыре часа, начиная с полуночи, счет склянок возобновляется. Максимальное количество склянок — восемь. Отсюда образное матросское выражение — «избить до семи склянок», то есть чуть ли не до смерти.

С о м н е р о в ы л и н и и — линии положения, в пересечении которых должно находиться судно, согласно наблюдениям светил и расчетам, выполненным по так называемому способу равных высот. Этот способ, основанный на том, что с определенных мест на земной поверхности, имеющих форму кругов, светила наблюдаются на одной высоте над горизонтом, был случайно открыт в 1837 году американским капитаном Сомнером, а затем доработан и усовершенствован рядом русских и иностранных мореплавателей.

С т е н ь г и — верхние продолжения мачт. Названия стеньг зависят от названия мачт: например, стеньга фок-мачты называется фор-стеньгой, стеньга грот-мачты — грота-стеньгой, однако стеньга бизань-мачты называется крюйс-стеньгой.

С т ю а р д — буфетчик на судне.

С у п е р к а р г о — лицо, ведающее на судне приемом и сдачей перевозимых грузов.

С у ш и т ь в е с л а — вынуть весла из воды и развернуть их поперек продольной плоскости шлюпки.

С х о д н и — переходные мостки с судна на берег, состоящие из досок с набитыми на них брусками — ступеньками.

С ч и с л е н и е — расчет местонахождения корабля по его курсу и пройденному расстоянию.

Т а б а н и т ь — грести в обратную сторону.

Т а л и — приспособление для получения выигрыша в силе, состоящее из двух блоков — подвижного и неподвижного, — соединенных между собой тросом.

Т е н д е р — определенный тип небольшого (водоизмещением 50 — 100 тонн) но быстроходного одномачтового судна с развитым парусным вооружением. В военном флоте использовались как дозорные и посыльные суда, откуда и произошло современное слово «катер».

Т р а б и т ь — ослаблять, отпускать, выпускать.

Т р а п — всякая лестница на судне. Здесь забортный, то есть убирающаяся наружная лестница, прилегающая к борту, по которой спускаются и поднимаются на судно с берега или шлюпок.

Т р и а н г у л и р о в а т ь — определять высоты предметов или расстояния на земной поверхности путем построения треугольников по их известным, то есть поддающимся измерению, элементам.

У з е л — здесь единица скорости на море, равная одной миле (1852 м) в час.

У р а в н е н и е в р е м е н и — разность между временем, определенным по условному «среднему» Солнцу (по которому идут наши часы) и истинному, то есть действительному Солнцу, в связи с тем, что оно меняет свое положение на небе неравномерно, вследствие эллипсовидности земной орбиты.

Ф а л и н ь — трос для привязывания шлюпок и других мелких судов.

Ф а л ы — снасти для подъема и удержания парусов в требуемом положении. Концы фалов обычно проводятся вдоль мачты и крепятся у ее основания, причем излишек троса сворачивается в аккуратные связки — бухты

— и также подвешивается к мачте.

Ф а л ь ш б о р т — продолжение борта, возвышающееся по краям открытых палуб для защиты от воды и предохранения людей от падения за борт.

Ф о к — нижний, самый большой парус на передней мачте — фок-мачте.

Ф о к-в а н т ы — ванты передней мачты (фок-мачты).

Ф о к-м а ч т а — передняя мачта на двух— и более мачтовом судне (за исключением так называемых «полуторамачтовых» судов типа кеча и йола, на которых передняя, то есть большая, мачта называется грот-мачтой).

Ф о р-м а р с а-р е й — рей второго снизу паруса, а здесь, то есть на марсельной шхуне, — первого снизу прямого паруса — марселя — на фок-мачте.

Ф о р-м а р с е л ь — второй снизу прямой трапециевидный парус на передней мачте двух— и более мачтового судна.

Ф о р-с т е н ь-ш т а г — снасть, удерживающая спереди верхнее продолжение фок-мачты — фор-стеньгу.

Ф о р ш т е в е н ь — вертикальный или слегка наклонный брус, образующий острие носа судна и соединенный внизу с килем.

Ф р а х т — плата за перевозку грузов или наем судна. Здесь в значении «аренда». Иногда слово «фрахт» употребляется также в смысле «груз».

Ф р е г а т ы — во времена парусного флота трехмачтовые военные корабли, имевшие до 60 пушек, расположенных на двух палубах — верхней, открытой, и нижней, закрытой.

Ф у т — мера длины, принятая и в настоящее время в США и Англии. 1 фут равен 12 дюймам, или 30,48 см.

Х р о н о м е т р — пружинные часы тщательной выделки, обеспечивающие большую точность и равномерность хода и являющиеся на судне хранителем гринвичского времени, знание которого необходимо для определения долготы места.

Ш к а н ц ы — самая верхняя палуба, или помост, на корме судна, где находился основной пост управления, то есть штурвал и компас.

Ш к а ф у т — средняя часть верхней палубы.

Ш к и п е р — старое судоводительское звание, капитан небольшого судна, обычно парусного.

Ш к о т ы — снасти для управления нижними свободными углами парусов. Название шкота зависит от названия паруса, для управления которым он служит. Например, грота-шкот служит для управления гротом.

Ш п а н г о у т ы — поперечные ребра корабельного скелета — набора.

Ш п и г а т ы — отверстия в фальшборте или палубном настиле для стока за борт воды, попавшей на палубу.

Ш т а г и — снасти стоячего такелажа, расположенные в продольной осевой (диаметральной) плоскости судна и удерживающие спереди одну из деталей его рангоута — мачту, стеньгу, бушприт и т. п.

Ш т и р б о р т — правый борт судна.

Ш т у р в а л — рулевое колесо с ручками, с помощью которого поворачивают через специальную передачу — привод — руль судна.

Ш х у н а — двух— и более мачтовое судно с косым парусным вооружением. Здесь Дж. Лондон часто имеет в виду так называемые марсельные шхуны, которые на передней мачте (фок-мачте) наряду с косыми парусами несут также прямые паруса.

Я к о р н ы й о г о н ь — белый огонь, поднимаемый над носом судна (а на больших судах и над кормой) при его стоянке на якоре. Здесь Дж. Лондон неправильно употребляет этот термин по отношению к судну, лежащему в дрейфе, то есть не стоящему на якоре.

Я р д — английская мера длины, равная 3 футам, или 91,4 см.

Я х т а — судно, служащее для морских прогулок или спорта.

[1] «Рассказы Южных морей» — сборник рассказов Джека Лондона, вышедший в 1911 году. (Здесь и далее прим. ред.)

[2] Британские Соломоновы острова — эта часть Океании в начале XX века была разделена между несколькими империалистическими державами, в том числе Британией и Германией. Отсюда «британские» и «германские» Соломоновы острова.

[3] Негры — Имеются в виду коренные обитатели Соломоновых островов, меланезийцы, которые по внешним признакам напоминают некоторые африканские народности. В этнографии меланезийцы иногда называются негроидами; белые завоеватели Меланезии называли их неграми. На самом деле этнический состав народностей Африки резко отличается от меланезийцев.

[4] Карнеги, Эндрью — американский мультимиллионер (1835 — 1919), автор книг, в которых он рекламирует американский образ жизни.

[5] Нью-Йорк был… Новым Амстердамом. — Территория, на которой расположен нынешний Нью-Йорк, была еще до английской колонизации этой части Америки заселена голландскими колонистами. Захватив ее в конце XVII века, англичане назвали Новый Амстердам Нью-Йорком.

[6] Карузо, Энрико (1873 — 1921) — известный итальянский певец, популярный в США после своих гастролей в Нью-Йорке.

[7] Гарлем — одно из голландских поселений поблизости от Нью-Йорка, затем часть Нью-Йорка, в конце XIX века заселенная по преимуществу беднотой.

[8] «Песнь песней» — собрание древнееврейских любовных песен, включенное в так называемый «Ветхий завет» — древнюю часть Библии, сложившуюся до н. э.

[9] Квинсленд — штат в Австралии.

[10] Снайдеровские ружья — винтовки, устаревшие к концу XIX века. Поэтому белые колонизаторы и сбывали их населению меланезийских островов.

[11] «Круглоголовые» — насмешливое прозвище сторонников парламента в эпоху буржуазной революции и гражданской войны в Англии (1642 — 1660); Оливер Кромвель — талантливый полководец эпохи английской буржуазной революции, впоследствии — лорд-протектор Англии (1599 — 1658).

[12] Кирос, Педро Фернандес — капитан, спутник Альварро де Мендана (см. прим. к стр. 120) в его втором плавании по тихоокеанским архипелагам (1595 г.). После смерти Мендана возглавил экспедицию и довел ее до конца. Островитяне оказали испанцам смелое сопротивление.

[13] Лаперуз, Жан Франсуа (1741 — 1788) — французский мореплаватель, исследователь Тихого океана. Погиб при кораблекрушении в районе Соломоновых островов.

[14] Так называемые «мужские дома» занимали важное место в жизни меланезийских племен. В них допускались только мужчины; в «мужских домах» обсуждались вопросы, важные для всего племени или деревни. «Мужские дома» сохранились, очевидно, от той эпохи, когда в меланезийской общине был окончательно побежден матриархат.

[15] Альварро де Мендана — испанский мореплаватель XVI века, видимо, первый из европейских моряков посетивший Соломоновы острова. Мендана и дал им это название, полагая, что он нашел путь к сказочным островам, где, по преданию, хранились сокровища библейского царя Соломона. При попытке высадки Мендана подвергся нападению меланезийцев.

Спасибо, что читаете вместе с «Азбукой веры».

Другие материалы раздела – azbyka.ru/fiction

Поддержать портал – azbyka.ru/kak-pomoch